

# Сердце хирурга

**Автор:**

Федор Углов

Сердце хирурга

Федор Углов

Перед вами уникальное издание – лучший медицинский роман XX века, написанные задолго до появления интереса к медицинским сериалам и книгам. Это реальный дневник хирурга, в котором правда все – от первого до последнего слова. Повествование начинается с блокадного Ленинграда, где Федор Углов и начал работать в больнице.

Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных диагнозов – все это преподносится как триллер с элементами детектива. Оторваться от историй из практики знаменитого хирурга невозможно. Закрученный сюжет, мастерство в построении фабулы, кульминации и развязки – это действительно классика, рядом с которой многие современные бестселлеры в этом жанре – жалкая беспомощная пародия. Книга «Сердце хирурга» переведена на многие языки мира.

Федор Углов

Сердце хирурга

Глава I

После бессонной ночи, проведенной у койки тяжелого больного, оперированного мною, я возвращался домой. Дышалось легко, свободно, и хоть солнце еще не взошло, пряталось где-то за высокими домами, оно угадывалось в игре золотистых бликов, пробегающих по оконным стеклам, по тонкому утреннему ледку лужиц на асфальте.

Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих – без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий – с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела – были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненужностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: «Хлеб», «Продукты», «Овощи»...

Как волновал он, послеблокадный Ленинград!

У трамвайной стрелки пожилая женщина в брезентовой куртке, по виду заводская работница или строитель, удерживала за плечи рыдающую девушку, а та вырывалась и сквозь слезы твердила: «Нет, нет, нет!...»

Я подошел к ним, спросил, не нужна ли помощь – я врач...

– Никто не поможет мне, никто! – крикнула девушка.

– Глупая! Сумасшедшая! Легла бы под трамвай! – Женщина ругалась и в то же время успокаивала девушку, говорила, что теперь, когда одолели войну, можно поправить любую беду...

– Да, да! – поддержал я, хотя по сбивчивым словам девушки, по затрудненному и специфическому дыханию понял всю безнадежность состояния ее здоровья и все же сказал твердо: «Не делайте глупостей, мы вас вылечим!»

Назвал адрес нашей клиники.

На что надеялся я, обещая незнакомой мне тогда Оле Виноградовой исцеление, избавление от невыносимых мук? Утешить ее, удержать от необдуманного поступка – это было, пожалуй, единственное желание. Ведь мы еще не делали операций, которые могли бы вылечить Олю, мы только нащупывали пути к ним.

Когда же девушка на следующий день пришла к нам, мы, подтвердив для себя клинически серьезность ее болезни, услышали горький рассказ-признание...

Какой может быть интерес к жизни, когда новый день встречаешь в страхе? Из месяца в месяц, из года в год...

Накануне Оля добилась приема у заведующей терапевтическим отделением районной поликлиники.

Заведующая встретила холодно. Она понимала, что ничем не может помочь, и, наверное, от сознания собственного бессилия говорила резко, с досадой:

– Эффективных методов лечения вашей болезни нет. Но все, чем современная медицина располагает, вам назначим...

– Плохо мне, – еле сдерживая слезы, сказала Оля. – Это же невозможно – заживо гнить и неизвестно чего ждать! Ехала к вам, раскашлялась в трамвае – все сразу отхлынуло от меня. Такой запах! И вы вот – я же вижу – отворачиваетесь... Как жить?

– Будьте терпеливы, – сказала заведующая, – вас, повторяю, лечат.

– А мне все хуже!

– А вы что ж – на чудо надеетесь?

Заведующая спросила раздраженно и тут же, стараясь смягчить свой безжалостный вопрос, поспешно добавила:

– Успокойтесь, Виноградова. Ступайте к своему участковому врачу – она поможет, сделает все, что в ее силах...

Домой Оля возвращалась, не видя дороги, не замечая ни встречных людей, ни звонкой весенней капли, ни поглубевшего, как бы раздвинувшегося от этой голубизны неба. Ей двадцать второй год, а вокруг – пустота. Проклятая болезнь! Она убивает не только организм; она убила все былые надежды, мечты – об

институте, счастливых днях, заполненных работой, отдыхом, когда можно пойти в театр или с компанией друзей уехать за город, в лес... Да только ли это! Как многообразна, содержательна жизнь... для других, но не для нее! Одна лишь Надя, любимая сестричка, утешительница, рядом...

Но почему так несправедливо тяжела расплата за минуты давнего легкомыслия?!

...Светлый, солнечный день поздней осени. Оля вернулась из школы, пообедала в одиночестве – мама и сестра были на работе – и побежала к подруге, за два квартала, на их же улице. Побежала налегке – в плащике, босоножках, с непокрытой головой. А бурые листья срывались с деревьев и падали под ноги.

Они делали с подругой уроки; после русского взялись за математику: было две трудных задачи, решение никак не давалось – провозились до сумерек. А потом увлеклись изобретением причесок, смотрелись в зеркало – какая кому пойдет... Совсем стемнело, на улице поднялся ветер, по оконному стеклу ударяли капли дождя. Оля собрала свои учебники и тетрадки, из-за какого-то глупого упрямства не попросила у подруги чего-нибудь теплого, что защитило бы ее от дождя и ветра. Выскочила из подъезда, отважно бросилась навстречу непогоде.

Дома Олю, озябшую, посиневшую от холода, напоили горячим чаем, уложили в постель. Но в ночь у нее начался жар, температура поднялась до 40°, а к утру девушка впала в беспамятство. Врач признал крупозное воспаление легких.

Болезнь протекала трудно. Лишь на восьмой день Оля пришла в себя, температура стала снижаться, хотя еще в течение месяца упорно держалась на 37,4–37,5°. Мучил кашель. Ни температуру, ни кашель, ни общее недомогание не могли сбить даже эффективные по тому времени лекарства и уколы.

Все же учебный год Оля закончила успешно, перешла в девятый класс. Чудесное лето с его живительным теплом и отрадным чувством свободы заставило позабыть недавние мрачные дни. Но лето промелькнуло быстро, а осенью, в пору холодных дождей, Оля, неведомо как простудившись, снова слегла в постель. Было обострение легочного процесса с повышением температуры и приступами кашля.

К желанному аттестату зрелости Оля шла через приступы болезни. В часы отчаяния поддерживала мечта: поступлю в медицинский институт, буду учиться, чтобы предостерегать людей от неожиданных болезней... Но все ее планы и налаженная жизнь семьи рухнули, сплетенные грозным словом: война! Отец в первые же дни ушел в народное ополчение и погиб. Суровой блокадной зимой умерла от истощения мать, отдававшая часть своего полуголодного пайка ей, Оле. Практичной, волевой Наде каким-то образом удалось устроить сестру истопницей при военной кухне, и, вероятнее всего, только благодаря этому Оля перенесла блокаду.

Обострения болезни все чаще укладывали ее в постель – на длительное время. Возле была верная Надя, рвалась, тянулась из последних силенок – лишь бы Оленьке стало лучше! Но болезнь неумолимо прогрессировала. Температура почти постоянно была повышенной. Оля лежала, бездумно глядя в потолок, безразличная ко всему окружающему.

Однажды лучиком надежды промелькнуло сообщение, вычитанное в медицинском журнале. Оказывается, при такой, как у нее, болезни все же делают операции – разрезают гнойники. Правда, в журнале писалось, что после таких даже успешно проведенных операций раны часто не заживают, остаются открытыми. И хоть страшно было представить себя на операционном столе – Оля обратилась к хирургу. Тот внимательно осмотрел ее и, вздохнув, развел руками: операцию, которая нужна ей, – увы! – в Ленинграде не делают. Луч надежды как мгновенно вспыхнул, так же мгновенно и погас...

В тот день, когда Оля была у заведующей отделением районной поликлиники, она, вернувшись домой, из случайно подслушанного разговора узнала: Надя только из-за нее не выходит замуж за любимого человека, из-за нее жертвует своим счастьем.

Вот тогда-то я и повстречал у трамвайной стрелки отчаявшуюся Олю. И этот роковой случай стал для меня толчком к ускорению большой, дотоле неведомой работы...

Гнойные заболевания легких, хронические пневмонии с бронхоэктазами и абсцедированием, пожалуй, – самая мрачная страница в истории терапии и

хирургии. Терапевтическое лечение давало лишь кратковременный эффект, и большинство больных погибали от интоксикации и амилоидоза почек.

В то время (вторая половина сороковых годов) лишь немногие хирурги осмеливались вскрывать абсцессы или же по частям извлекать изгнившее легкое. Смертность от таких операций была высокой, а у перенесших операцию часто оставались бронхиальные свищи или раны.

Сколько раз в военные годы мы с горьким чувством беспомощности стояли у постели раненных в грудь, не зная, как им помочь. Они требовали операций, методика и характер которых были нам не ясны. Поэтому уже в конце войны, и особенно после нее, мы стали специально заниматься этой проблемой, много читали, экспериментировали.

Из отрывочных сведений, доходивших до нас, было известно: некоторых успехов в этой области достигли хирурги США. Крупницы их опыта были рассеяны по страницам специальных журналов на английском языке. Стало ясно: без хорошего знания языка не обойтись. И я обратился за помощью к Надежде Алексеевне Живкович. За счет скудного времени, что после работы оставалось на отдых, брал уроки – два раза в неделю по полтора-два часа. Заставлял себя литературу, в том числе и художественную, читать только на английском, со словарем, конечно; чуть ли не каждое слово выписывал в тетрадь, особенно поначалу.

Помню, первую статью по хирургии легких, небольшую по объему, я читал ровно месяц, заполнив незнакомыми словами и непонятными оборотами речи всю тетрадь. Надежда Алексеевна, кажется, была довольна мною как учеником, а я с радостью первоклассника воспринимал даже мало-мальскую похвалу... И вскоре читал уже не облегченные издания, что выпускаются как пособия для изучающих язык, а обычные книги на английском. И хорошо запомнил, как называлась первая из них – «Scarlet pimpernel». Роман из времен первой Французской революции. Увлекательная по содержанию, она стала дорога мне: сдан экзамен самому себе – читать умею!

И чем больше я знакомился с литературой по лечению заболевания легких, тем настойчивее ощущал внутреннюю потребность вплотную заняться этой проблемой. Представлялось, что мы стоим на пороге ее решения – больше упорства, больше усилий... Порог переступить можно и нужно! От статей на английском перешел к немецким журналам – хотя с трудом, но справлялся сам;

французские же статьи переводила Надежда Алексеевна.

Осенью 1945 года в клинику поступила больная с множественными гнойниками в нижней и средней долях правого легкого. Чтобы вывести ее из тяжелого состояния, мы применили все, что было известно и доступно из консервативных и оперативных методов лечения. Решились даже на операцию: пересекли диафрагмальный нерв, чтобы парализовать движение диафрагмы...

Больной стало лучше, но болезнь не прошла, и гнойники в легких остались. Чувствуя себя подготовленным к радикальной операции, я обратился к нашему руководителю Николаю Николаевичу Петрову с просьбой разрешить ее провести.

– Рано, папенька, рано, – сказал он. У Николая Николаевича было обыкновением называть своих помощников «папенькой».

Я, досадуя в душе, понимал профессора: подобной операции мы не только никогда не делали, но даже не видели, как ее делают.

Веру Игнатьеву – так звали молодую, двадцатипятилетнюю женщину – мы лечили восемь месяцев, стараясь улучшить ее состояние то местным, то общим воздействием. Все это время я разрабатывал методику удаления двух долей легкого. Наконец Николай Николаевич разрешил мне оперировать Веру.

После были сотни самых сложных операций, но эта, конечно, незабываема. Трудная сама по себе, она была еще и шагом в неизведанное...

Первое в жизни вскрытие грудной клетки, в то время как в памяти еще свежи сообщения, что какой-то больной умер от одного прокола плевры... Плевропульмональный шок!.. При одной мысли, что я должен широко раскрыть грудь больного, мое собственное сердце сжималось от страха... А тут еще сложность: оказалось, что я не могу вскрыть грудную полость. Она была в прочных спайках, почти в рубцах, и вся анатомия легкого, которую я так тщательно изучал, изменилась до неузнаваемости. Надо было подобраться к корню легкого, к его сосудам, но всякая попытка разделить спайки приводила к кровотечению.

Пишу эти строки и как бы заново переживаю свое тогдашнее состояние...

Операция длится уже более двух часов. Наркоз не безукоризнен, местная анестезия из-за спаек малоэффективна. А я между тем никак не могу обнаружить сосуды, чтобы их перевязать. Сплошные рубцы. Чуть подашься к центру – того гляди перикард вскроешь, сердце поранишь. Пробую отделить спайки к периферии – задеваю легкое, оно кровоточит. А к тому месту, где должны быть сосуды, никак не подберусь! Разделяя рубцы, можно легко поранить крупный сосуд, вызвать кровотечение... Как тогда его остановить?

Но сколько топтаться на месте? Не может же операция длиться без конца.

Несмотря на непрерывное переливание крови, начало снижаться кровяное давление – грозный предвестник тяжелого шока!.. Прерываю операцию, даю больной отдохнуть чтобы давление снова поднялось.

И опять все усилия напрасны – никак не могу обнажить сосуды. От сознания, что мне ничего не удастся сделать и больная погибнет на операционном столе, я покрылся холодной испариной. Вся воля нацелена на то, чтобы сохранить самообладание, ясность мысли, твердость рук... Николай Николаевич, пристально следивший за операцией, отлично понимавший ее трудность и мою беспомощность в борьбе со спайками, тихо сказал:

– Что ж, папенька, видимо, не удастся отдельно перевязать каждый сосуд. А больная может не выдержать... Придется корень легкого между зажимами пересекать небольшими участками и тщательно их прошивать. Иначе корень в спайках вам, папенька, не разделить...

Как благодарен был я учителю – искренне и глубоко переживал он и за больную, и за меня. И словно второе дыхание пришло, зажглась светлая искорка надежды... Действительно, почему не применить метод, не раз описанный в литературе? Он не совершенен – это ясно, но когда нет другого выхода, как быть? Действовать!

Я стал захватывать ткань в том месте, где должны проходить сосуды, пересекать и прошивать. Постепенно, идя в глубь корня легкого, подобрался к крупному сосуду.

– Осторожно, папенька, – словно уговаривал меня Николай Николаевич, и как я ни был в те минуты взволнован сам, чувствовал волнение своего наставника – не



порвите сосуд, не спешите... Пока все идет хорошо. Вы молодец, папенька...

Слова Николая Николаевича помогли мне собраться, еще осмотрительнее и в то же время увереннее продолжать операцию. И вот – наконец-то! – легочная артерия перевязана и пересечена. Важный этап пройден. Но подобных этапов в операции еще несколько.

Миллиметр за миллиметром шел я к нижней легочной вене и перевязал ее без осложнений. Остался бронх – в окружении лимфатических узлов и мелких сосудов. Его нужно обработать, чтобы не вызвать излишней потери крови. Давление и без того низкое... Пришлось второй раз делать перерыв.

И вот последний этап – спайки. Они прочно держат легкое, к ним так трудно подойти, что пришлось дополнительно пересекать рёбра и расширять рану, продлив ее от грудины до позвоночника. Весь мокрый от пота, я опасался, как бы под конец не ошибиться, не допустить непоправимое. Наконец, выделив доли из спаек, удалил их из плевральной полости. И впервые за много часов расслабил собственные мышцы. Все!..

Операция продолжалась четыре часа – долгих, как день. Не осталось, кажется, никаких сил, но расслабиться можно было лишь на секунды – перед нами лежал человек, в котором едва теплилась жизнь.

Я подробно рассказываю об этой операции и расскажу о некоторых других, потому что уверен: в книге о труде хирурга такие описания просто необходимы. Легко сказать – сделал операцию, но давайте хоть немного проследим, что же стоит за этими словами, постараемся понять, какова ответственность и та нагрузка, которая ложится на хирурга.

А пока – вернемся к Вере Игнатьевой. Всю ночь и последующие трое суток мы не отходили от больной. Пульс у нее был сто шестьдесят ударов в минуту, слабого наполнения. Николай Николаевич Петров днем и ночью по несколько раз заходил в палату – давал советы, подбадривал нас. И сейчас, через годы, слышу глуховатый голос, чувствую успокаивающее прикосновение чутких пальцев. Как это важно, когда твой учитель вовремя оказывается рядом, душевным словом и мудрым замечанием поддерживает тебя!..

На восьмой день Николай Николаевич, посмотрев Веру Игнатьеву и выйдя из палаты, сказал мне:

– Ну, папенька, если ты и был грешен в чем – все грехи снимаю. Дело идет на поправку. Поздравляю!

А через два месяца Вера Игнатьева выписалась из клиники в хорошем состоянии. Температура была нормальной впервые за много лет.

Это была победа. Большая победа. И хотя, вполне понятно, мы радовались ей, эта победа показала нам, как мы еще слабы, как мало умеем! В процессе операции выявились серьезные недостатки. Было много неясного, как предупреждать операционные осложнения, как бороться с ними.

К этому времени стали вырисовываться контуры моей будущей докторской диссертации.

...Собрав всех нас, Николай Николаевич Петров распределял темы, говорил, кому написать журнальную статью, кто должен приступить к кандидатской диссертации, а кто – к докторской. Волнуясь, я ждал – что мне? На днях я сказал Николаю Николаевичу, что хочу взять тему докторской диссертации по хирургии легких. Он промолчал. А сейчас, не дойдя до моей фамилии, закрыл совещание...

На другой день опять, как до меня дошел, – закончил разговор.

Подождав, пока все разойдутся, я попросил у Николая Николаевича разрешения поговорить с ним, вновь твердо повторил свое:

– Хочу разработать тему «резекция легких».

– Какой вы, однако, настойчивый, папенька, – покачав головой, сказал Петров то ли с похвалой, то ли, наоборот, с осуждением. – Я ведь не специалист в этой области и не смогу быть полезным вам как руководитель.

– Сможете! – с невольным жаром и, вероятно, очень убедительно заверил я. – В специальных вопросах постараюсь разобраться сам, с помощью книг, а общее руководство и направление будут ваши, Николай Николаевич!

Учитель думал.

– Ну вот что, папенька, – наконец сказал он, – два месяца сроку вам! Познакомьтесь в основных чертах с состоянием этой проблемы, а потом скажете мне, какие вопросы подлежат разработке...

В назначенный срок я обстоятельно рассказывал Николаю Николаевичу о том, что в отечественной литературе совершенно не разработаны ни показания, ни методика, ни возможные осложнения при резекции легких.

– Как видите, Николай Николаевич, есть чем заняться, – закончил я как можно спокойнее, а сам в тревоге ожидал окончательного решения. Клинику этого вопроса постараюсь дополнить экспериментами и анатомическими изысканиями...

Тема моей диссертации была включена в трехлетний план работы кафедры. Однако хочу оговориться. О диссертации упоминается здесь только потому, что впоследствии в ней удалось обобщить определенный опыт, раскрыть новое направление в хирургии. Изданная отдельной книгой, она стала помощником в работе для многих хирургов... Меня же в тот период мало занимала чисто научная деятельность: интересовали и беспокоили люди, нуждавшиеся в помощи, люди, которых нужно было спасать.

После операции Веры Игнатьевой я с еще большей осторожностью стал думать о возможности новой подобной операции. До этого – пока изучал книги и экспериментировал на животных – думалось: сложно, но сумею! А оказалось: между экспериментом и книгой, с одной стороны, и операцией у больной, с другой – дистанция огромного размера. Ведь по сути Вера Игнатьева осталась жива чисто случайно!

Прежде всего не было ясно: правильно ли мы ставили показания к операциям, правильно ли решали вопрос, кого надо оперировать, а кого лечить консервативно? Этот вопрос в отечественной литературе не был освещен, и я усиленно читал все доступное в библиотеках Ленинграда, особенно на английском языке. Затем, обобщив данные и свой скромный опыт, написал первую статью по грудной хирургии.

Другое, к чему я стремился, – постичь все детали резекции легких. Нужно заметить, что в те годы большинство хирургов отвергало турникетный метод операции, то есть пересечение всего корня легкого или доли его, пережатого турникетом. Указывалось на огромные преимущества отдельной перевязки элементов корня легкого или доли – каждого сосуда и бронха отдельно – метода трудного и неотработанного. Поэтому, читая статьи разных авторов по методике резекции, я на трупах проверял рекомендации, вырабатывая свое суждение. Результаты поисков были представлены мною в виде обзора по методике резекции легких, опубликованном в «Вестнике хирургии».

Анатомический зал! Сколько часов проведено у его холодных столов, какие невероятные варианты возникали в голове, когда надо было приоткрыть завесу той или иной тайны...

Четырнадцать длинных месяцев с упорством сражающихся бойцов искали мы неизвестное в поставленной перед собой задаче: успешная резекция легких. Четырнадцать месяцев – от первой операции к следующей... И, право, не из-за любви к пышнословию вспомнил я тут про бойцов. У нас был именно передний край.

Разговаривая со мной, Оля Виноградова прикрывала рот платком, отворачивалась в сторону. Однако я все равно чувствовал тягостный запах гниения, и нужно было следить за собой, чтобы случайно не показать этого, не обидеть ее лишним раз! На лице Оли были то отрешенность и безразличие ко всему, то вдруг оно искажалось глубоким страданием, душевной мукой, взгляд становился затравленным, жалким, и слезы, слезы... Человеческое горе во всей своей безысходности!

Как хотелось вернуть девушку в полузабытый ею мир земных радостей. Но ведь придется удалить все легкое! Предстояла операция, подобной которой не встречалось в практике нашей страны. Мы только знали, что попытки некоторых крупнейших хирургов сделать то, что теперь хотели сделать мы, или кончались печально, или осложнения сводили на нет результаты напряженной работы.

– Вы обещали мне, – говорила Оля, – обещали!

– Вашу болезнь без операции не вылечишь, – объяснял я ей. – А подобных мы пока не делали...

– Вы обещали! – твердила Оля в слезах.

– Сделать такую операцию – великий риск, – отвечал я. – Мы не можем идти на этот риск.

Однако в моем голосе, видимо, не чувствовалось категорического отказа, и Оля уловила это. Успокоившись, твердо сказала:

– Вы знаете, что я обречена. Если не будет операции – не будет никакой надежды на спасение. Умоляю – не отказывайте... Я все равно так больше жить не могу... И не хочу! Я опять... Я покончу с собой!

Последнее было сказано с такой осознанной решимостью, что я не сомневался: она исполнит задуманное.

– Хорошо, Оля, – ответил я. – Вы ляжете к нам в клинику на обследование... Не падайте духом.

Тщательно проведенное обследование подтвердило односторонний характер поражения: правое легкое оставалось здоровым, а левое было полностью поражено мешотчатыми бронхоэктазами. Функция его была ничтожна. Оно представляло собою источник интоксикации и балласт для сердца. Ведь сердцу приходилось проталкивать кровь через нефункционирующее легкое.

Провели лечение, чтобы улучшить состав крови, уменьшить интоксикацию. Оля почувствовала себя лучше, мы увидели первую слабую улыбку на ее лице. Главное: она надеялась!

Меня же в то время смущало не только отсутствие хотя бы мало-мальского практического руководства по проведению подобной операции. Останавливала собственная неудачная попытка удалить правое легкое у больного. Такая попытка была, и хоть она принесла мне некоторую известность среди врачей, но перед самим собой я должен был признать свою неподготовленность, понял, какие незапланированные, неожиданные трудности кроются в этой операции...

То была операция больного Рыжкова, сорока двух лет, поступившего к нам с множественными гнойниками правого легкого. Консервативное лечение не принесло ему облегчения, и Николай Николаевич Петров на этот раз уже сам посоветовал мне сделать операцию, тем более что общее состояние Рыжкова позволяло идти на риск. Операция была назначена на 7 января 1947 года.

При вскрытии грудной клетки мы обнаружили большое количество спаек, которыми все легкое фиксировалось к грудной стенке. С немалыми усилиями удалось подобраться к корню легкого, обнажить легочную артерию.

Огромный сосуд с тонкими стенками был перед моими глазами. Требовалось обойти его со всех сторон. Спайки мешали этому, а любое форсирование могло привести к разрыву стенок сосуда, и тогда – катастрофа. То были минуты сильнейших душевных переживаний и сомнений!

Бережно, с огромным трудом удалось обойти пальцем сосуд, провести лигатуру и перевязать его. И сразу – падение давления до угрожающего показателя! Прервали операцию и довольно долго ждали. Давление застыло на критических цифрах. А нужно было преодолеть еще и другие травматичные моменты – перевязать верхнюю и нижнюю легочные вены, перерезать и ушить бронх, разделить спайки между легким и плеврой. Разве Рыжков выдержит – при таком-то давлении? И невозможно ждать, когда оно поднимется, – сколько можно больному быть с открытой грудной клеткой?..

Что делать? Продолжать операцию – шок и – верная смерть. А не продолжать нельзя. Из литературы я знал, что перевязка легочной артерии в эксперименте над животными заканчивалась некрозом легкого и гибелью подопытного. А у человека еще никто артерии не перевязывал... Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным!

В операционную вернулся отлучившийся ненадолго Николай Николаевич, потеснил нас, подавленно стоящих у стола, спросил:

– Сколько времени держится низкое давление?

– Около часа, – ответил я, – падение вторичное, почти не имеет тенденции к подъему...

– Кончайте операцию. Осторожно зашивайте рану, не прекращая борьбы с шоком.

– А как с легким? – взволнованно спросил я. – Легочная артерия-то перевязана!

– Выхода, папенька, нет, – сурово сказал Николай Николаевич. – Кончайте! Может быть, обойдется.

Последние слова учитель сказал уверенно и обнадеживающе.

Зашили рану грудной клетки, приложили все свое умение, чтобы вывести Рыжкова из шока...

К нашей радости и к удивлению, больной стал быстро поправляться, выделение мокроты прекратилось, температура была нормальная. Он пожимал мне руку, благодарил за избавление от страданий. Что я мог ему сказать? Объяснял сдержанно, что проведена лишь первая часть операции – перевязана легочная артерия, что – вполне вероятно – придется ему, Рыжкову, снова лечь под нож...

– Конечно, конечно! – охотно соглашался он, полагая, что вся операция проходила по строго задуманному плану, радуясь, что уже после первого этапа он как бы заново вернулся к жизни – здоров, можно сказать. – Я понимаю, я готов!

Нужно отметить, что Рыжкова после операции мы наблюдали многие годы. Он чувствовал себя нормально, обострения легочного процесса у него не наблюдалось. Бесконечно благодарный нам, он охотно приезжал по вызову – для контроля или демонстрации. В свой последний приезд вдруг заявил мне:

– Не могу примириться, Федор Григорьевич!

– С чем же?

– Почему вас зовут доцентом, а не профессором!

– Рано мне в профессора, – отшутился я, невольно подумав при этом, какой нравственной перегрузки стоила мне операция Рыжкова.

– Не рано, – убежденно ответил он. – А если вам для звания профессора понадобится удалить мое второе легкое, – я готовый, хоть сейчас!

Добрый человек! Говорил он это так серьезно, что похоже было – не шутит!

Операция перевязки легочной артерии у человека, от которой он не только не умер, но даже избавился от гнойного заболевания, произвела в медицинском мире громадное впечатление. Она обещала новые перспективы, новые открытия... В газетах писали обо мне, что я – «впервые в мире...» и тому подобное. Было, не скрою, лестно читать и слышать подобные слова, однако обострилось чувство ответственности. Я хотел не случайных удач, а надежных добытых опытом результатов, которые были бы уже системой...

Еще несколько раз применяли мы подобную операцию у других больных – уже сознательно и, как ни странно, такого поразительного успеха, как в случае с Рыжковым, добивались не всегда. Забегая вперед, скажу, что позже я поручил разработать более детально эту проблему А. В. Афанасьевой в ее докторской диссертации, с чем она, по-моему, неплохо справилась. Тогда же мы долгое время не могли установить, почему легкое у больного не омертвело, в то время когда в эксперименте у животных оно всегда омертвевало. А суть была вот в чем... Перевязка легочной артерии приводила к резкому обескровливанию легкого, но через спайки с грудной стенкой образовывался коллатериальный (запасной) путь кровоснабжения, поддерживающий питание легкого. В то же время недостаточное кровоснабжение из-за перевязки главного сосуда приводило к сморщиванию легкого и постепенному запустению гнойных полостей. Так что, сделав эту операцию отчаяния по совету Николая Николаевича, мы – пусть и случайно, однако для пользы дела – получили хороший результат. Было основание радоваться этому? Разумеется.

Приблизительно в это же время ситуация, подобная нашей, возникла в операционной у А. Н. Бакулева, и он, как и мы, вынужден был непредусмотренно закончить операцию после перевязки легочной артерии. Его больной, как и наш Рыжков, почувствовал себя здоровым. Однако отдаленные результаты А. Н. Бакулев, к сожалению, не опубликовал...



Вот что мы имели в своем активе в те месяцы, когда роковой, как я его окрестил для себя, случай столкнул меня и Олю Виноградову.

А к Оле все в клинике привязались. Бывало, зайду в палату:

– Здравствуй, Оля!

– Ой, Федор Григорьевич, а к нам на окошко птица садится!

– Какая же птица?

– Красивая. Перышки чистит. Мы ее кормим.

Ожившие глаза смотрели с надеждой. Оля надеялась на нас, была уверена, что после операции к ней вернутся счастливые дни.

Операция состоялась 5 июня 1947 года.

Применили разработанный мною волнообразный разрез с пересечением ребер. Невероятного напряжения стоило освободить от спаек легочную артерию и перевязать ее с великой осторожностью, чтобы нитка не соскользнула, но и не перерезала тонкую стенку артерии. И все это в глубине, где так легко поранить аорту и легочную вену! Тут малейшая ошибка, неосторожное, нерассчитанное движение и – непоправимая беда. Я собрал волю, что называется, в кулак, старался ничем не выдать своего волнения. И мне, и неизменным моим ассистентам – Александру Сергеевичу Чечулину и Ираклию Сергеевичу Мгалоблишвили – необходимо было сейчас как никогда проявить все свои способности и умение.

В конце концов артерия была перевязана, прошита и пересечена; кровяное давление у Оли не упало, состояние не ухудшилось, и мы позволили себе сделать небольшой перерыв... Второй же этап операции при перевязке нижней легочной вены заставил пережить нас ужасные минуты. Из-за фиброза легочной ткани и смещения левого легкого в большую сторону эта вена оказалась глубоко в средостении, прикрытая сердцем и почти недоступная для хирурга. Чтобы ее обнажить, наложить на нее лигатуры, прошить и перевязать, ассистент, помогая

мне, должен был довольно сильно отодвигать сердце вправо. Но сердце плохо переносит любое прикосновение, а тем более насильственное смещение... Олино сердце тут же отозвалось дополнительными и неправильными сокращениями (аритмия), и врач, непрерывно измерявший по ходу операции кровяное давление, тревожно сообщил, что оно катастрофически падает. Сердце Оли грозило остановиться. И мы вынуждены были на какое-то время отступить, дать сердцу возможность выровняться.

Ассистент вновь отодвинул сердце для продолжения операции, и через несколько минут – новый перерыв. За ним – другой, третий... Сердце с каждым разом все труднее возвращалось к нормальной работе. Стремясь как можно быстрее закончить перевязку и пересечение вены, я вынужден был предостерегать себя от торопливости. Вена натянута, и если она выскользнет из лигатуры – конец... Остановить кровотечение из короткой культи нижней легочной вены практически невозможно.

Годы спустя, с приобретением опыта, мне, правда, удавалось это сделать. Однако что за мучения были!.. Но в тот день, несмотря на большой соблазн закончить операцию как можно скорее, у меня все же хватило выдержки и хладнокровия с особой тщательностью перевязать и прошить сосуд. А когда убедился, что перевязка сделана безупречно, пересек вену...

Операция продолжалась три часа сорок минут. Три часа сорок минут и почти два года работы над книгами, эксперименты над животными и анатомические изыскания... Три часа сорок минут за операционным столом плюс многомесячное обдумывание каждой детали. И конечно же опыт первых трудных и весьма поучительных операций. И длительная, самая тщательная подготовка больной, направленная на укрепление ее сил, которая никак не укладывалась в «средний койко-день», но которая принесла значительное улучшение состояния Оли: мокроты стало меньше, выровнялась температура и картина крови...

После операции покой не наступает – ни для больного, ни для операционной бригады. Или, вернее, он приходит, но не сразу. Как только местное обезболивание перестает действовать, болевые импульсы с огромной операционной раны устремляются к мозгу, а это, как правило, вызывает падение у больного кровяного давления... Борьба за жизнь человека продолжается.

И в тот день – полутора часов не прошло (я отлучился, чтобы выпить стакан чаю) – ко мне прибежали с тревожным известием: Оле плохо!

Она лежала белым-бела, с очень слабым и частым пульсом, безразличная ко всему. Срочно ввели морфий, струйно начали вводить кровь, наладили дыхание кислородом... Розовели Олины щеки, дыхание стало ровным, хорошим. Двое суток мы не отходили от нее, пока угроза не миновала. А в последующие дни особое внимание обращали на то, чтобы рана и плевральная полость не нагноились.

Тогда у нас не было никакого опыта в выхаживании подобных больных после операции. Как горячо дискутировали мы, собираясь в ординаторской, как спорили, находя нужное решение! А порой, разгоряченные, все вместе шли в библиотеку – искать ответ в книгах.

Как сейчас помню раздумчивый кавказский акцент Ираклия Сергеевича, его юношески пытливый взгляд, чистоту и доброту которого не могли погасить прожитые годы войны.

– Федя, а не лучше ли нам откачать всю кровь из плевры, чтобы случайно не нагноилась?

– А чем будет заполнена плевра, когда воздух всосется? – вступает в разговор Александр Сергеевич.

– Ну, диафрагма поднимется, ребра опустятся, постепенно чем-нибудь заполнится...

– Чем-нибудь она не может заполниться, – говорю я. – Туда, откуда всосется воздух, сместятся сердце и сосуды. А сосуды из-за смещения могут перегнуться, резко затруднят работу сердца.

– Подумать нужно, – не сдается Ираклий Сергеевич.

– Я согласен с Федей, что кровь откачивать не следует, – это опять Александр Сергеевич. – Кровь свернется и зафиксирует сердце на месте...

– А угроза инфекции?

– Угроза реальная, – соглашаюсь я с Ираклием Сергеевичем. – Будем на страже! Зато если не откачаем кровь, позднее Оле будет легче...

– Это да, – кивает головой Ираклий Сергеевич. – Но надо думать, друзья, думать! Вы знаете, что Оля мне сегодня рассказала? Сон видела: луг в ромашках, и она бежит по нему. Бегу, говорит, Ираклий Сергеевич, бегу!..

И было славное чувство в душе: рядом с тобой такие же, как ты сам, увлеченные люди, они твои товарищи по работе, мы понимаем друг друга... Как много это чувство значит для дела и как часто нам в жизни не хватает его! В ту пору я был счастлив, что нахожусь среди хороших людей, что во главе нашего коллектива стоит мудрый и благородный Николай Николаевич Петров.

Не забыть ту доброжелательность, с которой Николай Николаевич относился ко всем нововведениям, ко всем моим предложениям, направленным на разработку проблем легочной хирургии. Он лично не принимал участия в этих операциях, но часто успех нашей работы держался на вовремя поданном им совете. С бескорыстием большого человека все, что знал и умел сам, он щедро отдавал нам...

Мы не слышали от него упреков, когда случались неудачи. Николай Николаевич понимал, что они не от небрежения, а от недостатка опыта. На тернистой же тропе нового дела нас всегда поджидают непредвиденные неожиданности. Глубоко переживая наши неудачи, он в то же время оберегал нас от излишних эмоциональных потрясений, подбадривал и одновременно всем своим поведением показывал пример самого заботливого отношения к больным. Интересы больного человека ставились им превыше всего. И прогресс науки Николай Николаевич Петров прежде всего расценивал как помощь страждущему человечеству... В книге я еще не раз вернусь к этому дорогому для меня имени.

С Александром Сергеевичем Чечулиным мы оба были доцентами, но я заведовал отделением, а он исполнял обязанности заведующего клиникой. Однако за все годы нашей совместной работы Александр Сергеевич ни разу даже косвенно не намекнул о своих формальных правах давать мне те или иные указания... Его отношение ко мне и другим строилось на уважении, стремлении помочь в новых начинаниях, не было в нем ни зависти, ни боязни, что кто-то обойдет его. Это была, конечно, школа Петрова. Александр Сергеевич беззаветно любил медицину, в совершенстве освоил профессию хирурга. Жаль только, что, будучи заядлым спортсменом, он отдавал своему увлечению слишком много времени –

докторская диссертация оказалась ненаписанной, и хотя он был прекрасным хирургом, опытным преподавателем, после того как ушел из института Н. Н. Петров, его не оставили заведующим кафедрой. На этот пост был избран другой специалист, имевший докторскую степень.

При всех моих операциях Александр Сергеевич ассистировал первым ассистентом, а вторым, как уже упоминалось выше, был Ираклий Сергеевич Мгалоблишвили, ныне профессор. В клинику он пришел с опытом, полученным на фронте. Энергичный человек, способный хирург, Ираклий Сергеевич защитил кандидатскую диссертацию и вскоре перешел в Военно-медицинскую академию, стал там доктором наук и занял кафедру хирургии в одном из периферийных вузов...

Благополучно законченная операция у Оли Виноградовой была для нас не случайной победой. Ей предшествовала двухлетняя кропотливая подготовительная работа. Операция положила начало более быстрому развитию этого раздела хирургии в клинике Н. Н. Петрова. Вслед за ней мы провели несколько подобных – по удалению долей легкого, затем по удалению всего легкого при абсцессе...

Интерес к работе клиники был необычен. Наши заявки на демонстрации и доклады в Хирургическом и Терапевтическом обществах принимались и включались в повестку дня сразу. Мы почувствовали даже то, что, вероятно, постоянно чувствуют удачливые люди искусства, – настойчивое внимание к себе со стороны других, ощущение внезапно пришедшей к тебе известности, чуть ли не славы. Однако когда серьезно работаешь и конца работы не видно, ты поневоле далек от праздного самолюбования. Были дороги теплота и уважение коллег, основанные на понимании твоих устремлений.

Запомнилось, например, такое. Однажды я услышал, как два хирурга средней квалификации обсуждали мое выступление, и один, не видя, конечно, меня, сказал:

– А толковый этот парень Углов!

– Да, – согласился другой, – и молодой совсем!

Выглядел я тогда действительно молодо: черные волосы, невысокий рост, спортивная фигура. Рядом с Чечулиным и Мгалоблишвили, рост которых был как у хороших баскетболистов, я, конечно, проигрывал – не та солидность. Да еще Н. Н. Петров как-то по-домашнему, сердечно называл меня всегда Федей, а Феде, замечу, было уже за сорок.

Возможно, мой внешний «несолидный вид» внушал определенное недоверие некоторым маститым хирургам, в то время тоже приступавшим к освоению проблем хирургии легких. Лично же я с большим уважением относился к каждому из хирургов, кто работал в этой области, удовольствием вспоминаю совместное выступление с Петром Андреевичем Куприяновым в Терапевтическом обществе.

Я демонстрировал двух своих первых больных – Веру Игнатьеву и Олю Виноградову. Обе чувствовали себя прекрасно. И все же было у меня некоторое ощущение робости. Еще бы – сам Куприянов, всесоюзная знаменитость, признанный авторитет, и я с ним... Попросил совета у Николая Николаевича. Тот внимательно, как на репетиции, прослушал мое выступление и сказал:

– Вам отводится для демонстрации семь минут, а вы, папенька, разбежались на целых девятнадцать. Вот это сократите и это... Кроме того, рекомендации излишне категоричны, а больных излеченных – всего двое. Хотя эффект разительный, но все же, Федя, – их двое, а не двадцать! Я советую вам никаких рекомендаций обществу не давать, а закончить свое выступление вот такими словами...

И Николай Николаевич привел их мне.

На заседании общества, показав хороший результат операций у больных, раскрыв по клинической картине и по бронхограммам их состояние до операции, я закончил выступление следующим образом:

– Вместо выводов разрешите мне сослаться на слова одного французского философа, о которых мне напомнил мой учитель Николай Николаевич Петров: «Я ничего не предполагаю, я ничего не предлагаю, я только излагаю и прошу вас самих сделать вывод из изложенного».

Под аплодисменты я прошел на свое место, стал слушать доклад П. А. Куприянова. Он продемонстрировал больную, которой – приблизительно в то же время, что и я, – удалил левое легкое. Выводы его доклада совпадали с моими данными. И в дальнейшем наши выступления нередко перекликались, мы как бы дополняли друг друга.

Уже будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института, я в 1951 году демонстрировал больного, у которого удаление пораженного раком легкого было произведено при внутривнутриперикардальной перевязке сосудов. Такая методика демонстрировалась впервые в нашей стране. Не было сомнения в ее прогрессивности: она расширяла технические возможности хирургов, способствовала увеличению операбельности таких больных. Поэтому на заседании общества слышались только одобрительные голоса. Лишь представитель клиники П. А. Куприянов сдержанно сказал, что они этой методикой не пользовались и что-либо говорить в ее пользу у них нет оснований...

Примерно через год я выступал уже с докладом на эту тему: сообщил о семнадцати операциях при раке легкого с внутривнутриперикардальной перевязкой сосудов. Преимущества этого метода теперь уже доказывались на большом материале. В прениях взял слово Петр Андреевич Куприянов и, ссылаясь на меня, подтвердил надежность внутривнутриперикардальной перевязки сосудов легкого. Закончил он выступление неожиданным сообщением, что этот метод теперь широко применяется в их клинике.

– Мы с вами в одной упряжке идем, – сказал он мне с улыбкой во время перерыва. – А в упряжке должен быть надежный коренник. Так ведь?

Здоровье – это счастье человека. И нужно было видеть сияющие глаза Оли Виноградовой, слышать ее звонкий смех! Надя говорила мне, что забыла, как улыбается сестра, а теперь... Оля резвилась, как маленькая – бегом, бегом, бегом... На четвертый этаж взбегала по лестнице, не чувствуя одышки, а ведь до операции на второй этаж поднималась с трудом, поддерживаемая нянечкой. Не было границ ее радости.

– Федор Григорьевич, – приметив меня во дворике, кричала она из раскрытого окна, – вы идете и ничего не видите!

– А что я должен увидеть?

– Все, что вокруг вас! – И смеялась.

И я, встряхнувшись, замечал, какой на самом деле хороший денек, небо высокое, чистое, много солнца и мягкой спокойной синевы...

Появились в нашей клинике и другие больные, подобные Оле, гладко прошли операции и у них, они хорошо чувствовали себя в послеоперационный период.

Однако меня не покидало смутное ощущение тревоги: на первых порах нам посчастливилось, но знаем-то мы еще мало!.. Особенно заметно выявилось это, когда в клинику стали поступать больные с хроническими абсцессами. Их тяжелое состояние было серьезным препятствием для операции. У них так резко падало артериальное давление, что приходилось делать долгие перерывы в операции, а порой – просто немедленно прекращать ее, лишь бы снять больного живым со стола! Были случаи с печальным исходом...

Смерть больного всегда тяжело переживается хирургом, и вдвойне тяжелее, если происходит при разработке новых разделов хирургии. Тут и сам факт смерти человека, который надеялся на тебя и к которому ты привык сам; тут и угроза успешному продолжению начатого тобой дела... Умрет больной во время операции или после нее – места не находишь, терзаешься, упрекаешь себя во всех возможных и невозможных ошибках и упущениях.

Не все способны понять, как сложен, а иногда и драматичен труд хирурга, прокладывающего новое направление в науке. Сколько обвинений и укоров летят ему если не в лицо, то в спину!

На одной из патологоанатомических конференций мы разбирали причину смерти больного, погибшего во время операции при раке пищевода. Вспоминая этот случай сейчас, четверть века спустя, невольно думаешь о том героизме, который проявили и больной и хирург: тяжелейшая операция проводилась под местным обезболиванием. Во время операции, при прохождении через левую плевру, пищевод можно было выделить лишь при условии, что опухоль не проросла правую плевру. Но знать заранее об этом хирург не мог. У больного правая плевра как раз оказалась проросшей опухолью и при выделении порвалась... Можно себе представить, что в эти минуты переживал хирург!



На конференции один из медиков-администраторов, уяснив вроде бы объективную картину случившегося, все же грозно изрек:

– Не надо было рвать правую плевру!

Сказано было так, что хирург чуть ли не обвинялся в том, что сознательно погубил человека. Как будто бы при подобной операции имелся другой выход!

Ужасно слушать несправедливые упреки, еще ужаснее оправдываться под их тяжестью... Мы старались на подобные мероприятия приглашать Николая Николаевича, Человек с непререкаемым авторитетом, он одним своим присутствием вносил успокоение в ряды ретивых администраторов.

О, эти печальной памяти так называемые лечебно-контрольные и патологоанатомические конференции былых лет! В какие судилища они превращались с их неременным стремлением во что бы то ни стало найти виновных! А коли виновного изыскивали – незамедлительно следовала административная санкция. И чтобы избежать неприятностей, хирурги всячески старались доказать, что всему виной одни лишь объективные причины... Это не шло на пользу делу: ошибки замазывались, когда на них нужно было учиться.

Николай Николаевич Петров постоянно внушал нам: при несчастном случае мужественно ищите, в чем ошиблись, не бойтесь этого! Поняв причину ошибки, вы не повторите ее в будущем, предостережете других...

– Николай Николаевич, вы считаетесь у нас в стране непревзойденным диагностом. Были ли у вас диагностические ошибки? – спрашивали мы у него.

– Были, – отвечал он. – Такие, что оказывались роковыми для больных. Неприятно вспоминать, но никуда не денешься...

– У нас при разборе, вы знаете, врачей за ошибки сурово наказывают. Правильно ли это?

– Нужно наказывать за халатность, небрежность, – говорил Николай Николаевич. – А за ошибку, особенно при постановке диагноза, возьмется наказать лишь тот, кто сам у постели больного не решал сложных вопросов...

Ошибка поиска – не ошибка от невежества и зазнайства. Это нужно различать.

– А мы мучились: что же делать с тяжелыми больными, у которых хронические абсцессы? Одна смерть, другая... Из-за этого может быть приостановлена вся наша так успешно начатая работа.

Поздним вечером, отдыхая, мы сидели в ординаторской.

– Не брать на стол тех, для кого операция – непосильная нагрузка, – горячился Ираклий Сергеевич.

– Отказывать несчастным в помощи? – возразил Александр Сергеевич. – У меня язык не повернется сказать больному: прощайте, мы вас выписываем, ничем помочь не в силах!..

– Друзья, – вступил в разговор я, – таких больных нужно готовить к операции, как готовили Веру Игнатьеву. Но положение их более тяжелое – что-то особенное требуется, искать нужно. Пенициллин на многих из них не действует. Так ведь? А что, если начать применять его местно?.. В очаг поражения.

– Это мысль! – живо отозвался Ираклий Сергеевич. – Ведь некоторые хирурги делают так – при маститах...

– Мысль, – задумчиво согласился Александр Сергеевич.

Сейчас может показаться странным: над чем бились! А тогда именно бились. В то время, не так уж и отдаленное от нынешнего, мы еще не умели справляться с угрозой воздушной эмболии, открытого пневмоторакса, кровотечения и некоторых других осложнений.

Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единому мнению: поскольку ничто другое не помогает – вводить пенициллин прямо в легкое. Во многих случаях был получен отличный результат. Тяжелые больные, которых длительное время лихорадило, после первых же уколов в легкое чувствовали облегчение, даже выделение мокроты у них исчезало, они легче переносили операцию. Но не все! И вот с теми, кому не помогали внутрилегочные пункции, не знали, что делать. Отпустить из клиники – почти сказать: ты обречен, ты безнадежен... А среди

таких – и это сознавалось нами с особой горечью – были дети. Поныне снятся их бледные личики с неизъяснимой печалью, рано уставшие глаза...

Запомнилась шестилетняя Валя. Ее мать, психически ненормальная, привязала девочку к кровати и открыла форточку на всю ночь – дело было зимой. Валя заболела тяжелой формой воспаления легких; после у нее было не менее тяжелое обострение. В клинику ее привезли чужие сердобольные люди. Нас, повидавших немало человеческих страданий, потрясла судьба этой девочки. Состояние ее было ужасным: левое легкое в гнойниках, постоянно повышенная температура, огромные выделения мокроты... В довершение всего в моче появился белок – первый признак начинающегося амилоидоза почек, а это – начало конца.

Я сам делал Вале уколы внутрь легкого – при тщательной местной анестезии, чтобы как можно сильнее пригасить болевые ощущения. Валя, поняв после первых же уколов, что от них ей становится лучше, шла в перевязочную без сопротивления, вела себя со взрослой рассудительностью...

– Немножко больно, зато потом будет хорошо – да?

Мы кивали в ответ: да, Валя, да, милая...

Меня часто не только что восхищало – буквально поражало сознательное отношение детей к своей болезни, понимание того, что все медицинские манипуляции, нередко болезненные, которые мучительно переносили даже взрослые, – необходимы, без них не обойдешься. В детях, которых коснулось горе, много мужества и терпения.

Пенициллин, вводимый Вале в очаг поражения, не помогал, интоксикация держалась. Девочка таяла на глазах.

Я обратился к учителю:

– Николай Николаевич, а если девочке ввести однопроцентный хлористый кальций, как вы советовали делать при сепсисе?

Он задумался, ответил, размышляя:

– Что ж, это, вполне вероятно, даст результат... Ведь у таких больных нарушена проницаемость клеточной мембраны, особенно нервных клеток, нарушена и их функция. Попробуйте! Может быть, у подобных больных происходят те же процессы, что и при общем заражении крови... Тут, папенька, поле деятельности...

И мы решили применить Вале внутрилегочные уколы пенициллина с внутривенным введением больших доз однопроцентного хлористого кальция. Девочка перенесла это вливание хорошо (а влили относительно большую дозу – сто миллилитров), но температура держалась. Тогда на следующий день – после обязательного предварительного контроля под лучами рентгена – мы ввели Вале внутрилёгочно раствор пенициллина на новокаине.

К великой нашей радости, температура упала!

Продолжая вводить кальций и одновременно делать внутрилегочные уколы, мы скоро добились значительного укрепления организма Вали, и операция по удалению у нее пораженного левого легкого прошла без осложнений. У постели девочки с охотой дежурили и врачи, и медицинские сестры. Через месяц уже можно было выписать нашу общую любимицу из клиники. Но никто за Валею не приходил, и мы задержали ее у себя еще на полтора месяца, – пока длилось оформление в детский дом. Испившая в детские годы горькую чашу до дна, Валя отвечала на нашу заботу любовью и лаской, и, право, до сих пор слышится мне ее трогательный голосок...

Нужно ли объяснять, что с этих пор у нас в клинике метод борьбы с гнойной интоксикацией с помощью хлористого кальция и внутрилёгочных пункций получил твердую прописку. А это – само собой, после опубликования в хирургической печати наших данных – привлекло внимание других медицинских коллективов. К нам приезжали, чтобы лично ознакомиться с методикой подобной подготовки больных к операции.

Правда, кое-кто из хирургов считал, что мы напрасно тратим время на такую подготовку, она не обязательна, когда врач в совершенстве владеет своей профессией... Такого мнения, например, придерживался Н. М. Амосов – хирург талантливый, однако человек несколько увлекающийся. Он писал, что безо всякой подготовки получает благоприятные результаты – гнойная интоксикация ему не помеха. Однако спустя некоторое время Н. М. Амосов признал, что все же в некоторых случаях он тоже находит нужным готовить больных к операции. И

это признание только выгодно оттенило незаурядность характера и преданность науке блестящего хирурга и большого ученого...

Прошло всего каких-нибудь два-три года, а клиника Н. Н. Петрова стала известной в стране как один из ведущих центров торокальной хирургии. Наряду с лечением гнойных заболеваний легких мы уже принимали и больных раком легких. Николай Николаевич благословил нас на разработку очередной совершенно новой проблемы – хирургии внутригрудного отдела пищевода, и вскоре тут тоже были получены первые успехи. Обо всем этом и о другом, о нашем дружном коллективе энтузиастов, в котором каждый работал с единственной целью – спасти больного, еще будет рассказано в других главах. Мне же те годы особенно дороги потому, что именно тогда я становился на путь большой хирургии.

А начало пути, полного труда и дерзаний, проглядывается в далеких днях детства. Мои приятели по улице и школе хотели быть моряками и путешественниками, машинистами на не виденной нами железной дороге и знаменитыми сыщиками, с понятной мальчишеской легкостью меняя свои привязанности, наделяя себя новой мечтой... А я не помню, когда бы не хотел стать хирургом, твердо знал и стремился к одному – буду врачом, и именно хирургом. Так что начало всему – от порога отчего дома...

## Глава II

Мы жили в сибирском городке Киренске. На триста- пятьсот верст вокруг не было другого места, где бы еще имелась больница. И редкую неделю в нашем гостеприимном доме не останавливались на ночлег приехавшие издалека знакомые. «К доктору, – говорили они, – дал бы он облегчение!..»

Уважительно произносилось имя киренского хирурга Светлова. Руки у него, как я сейчас понимаю, были искусные, душа чистая, сострадательная к чужой беде. Он был из тех благородных русских натур, которые на заре нового двадцатого века связали свою жизнь со служением простому народу, стремились в глухих, медвежьих углах нести людям знания, культуру, собственным примером учили добру и бескорыстию.

Какими счастливыми, буквально заново воскресшими уезжали в свои деревни после светловских операций наши гости! А однажды произошло такое, что вовсе укрепило мое желание – буду как Светлов!

...В деревне подрались парни. Местные задумали проучить пришлых, чтоб те не ходили к ним на вечеринки, не смущали девушек: пусть, мол, со своими красавицами веселятся! Обычная потасовка переросла в кровавое побоище. Среди пострадавших оказались мой двоюродный брат Петя и его дружок Василий. Брату нанесли сквозное ранение правого предплечья с перерезом двух нервов. Василия ударили ножом в шею, был, по-видимому, поражен крупный сосуд. Парень от потери крови несколько раз терял сознание.

В Киренск раненых привезли в тяжелом состоянии. Помню запрокинутое посиневшее лицо Василия, уложенного в телеге, его безжизненно свесившуюся руку. Петя запекшимися губами просил пить. Я, переживая, ходил под окнами больницы, было тревожно видеть через стекла мелькание белых халатов, но я все же верил: доктор Светлов поставит парней на ноги.

И после было радостно сознавать, что мои надежды оправдались. Я словно бы в самого себя поверил: можно научиться спасать людей!

Как-то вечером всей семьей мы читали вслух «Ущелье дьявола» Дюма. Там есть эпизод: внезапно заболела маленькая девочка, перепуганная мать бежит к врачу, но тот соглашается спасти крошку лишь при одном, унижительном для женщины условии... Слезы навертывались на мои глаза, я ненавидел этого бессердечного лекаря, был готов в те минуты мчаться туда, к бедной девочке, чтоб спасти ее.

Такие вечерние чтения были обыкновением в нашем доме. Сколько хорошего давали они нам, детям! С тех пор, например, наизусть помню поразившую тогда мое воображение поэму Пушкина «Братья-разбойники»... Заключенная в книгах великая сила, словно живительная кровь, переливалась в наши сердца.

Обычно в сумерки, как только отец, вернувшись с работы, отдохнет и закончит неотложные дела по хозяйству, мы, приготовив уроки, садились вокруг стола у зажженной лампы и допоздна читали вслух. Начинал отец, читал он с большим чувством. Особенно любили мы исторические романы. Они давали нам понимание того, как велика наша страна, как богата она интересными,

даровитыми людьми, как нуждается в полезных делах! Слово Россия приобретало для нас конкретный смысл, было таким же близким и родным, как другие понятия – дом, мама, папа, товарищи...

Когда в книге попадались трогательные сцены, у отца заметно дрожал голос, а иногда он даже прерывал чтение, чтобы успокоиться. Человек трудной судьбы, испытавший унижения, несправедливость, он был чуток к горю других. А всегда так: страдания других лучше понимает тот, кто сам страдал. Вспоминаются строчки Ивана Никитина из его «Бурлаков»: «Эх, приятель! И ты, видно, горя видал, коли плачешь от песни веселой!..»

Нередко в такие вечера мы слышали от родителей рассказы о минувших днях – они как бы служили живой иллюстрацией к узнанному из книг, дополняли их, заставляли нас задумываться над суровой правдой жизни. И снова хочется сказать, с нежной благодарностью вспоминая отца, маму: прекрасной школой воспитания были домашние вечерние чтения-беседы!

Вот отец, отложив в сторону книгу, задумавшись над судьбой литературного героя, говорит:

– Да, и ему пришлось хлебнуть мурцовки...

– А что такое мурцовка? – спрашиваем мы.

– Арестантская еда из крошек хлеба и сырой воды, – поясняет отец. – Мы на этапе только этим и питались...

– А что такое этап?

Отец отвечает строчками из Некрасова:

Под караулом казаков с оружием в руках

Этапом водим мы воров и каторжных в цепях...

Он замолкает, тень нелегких воспоминаний набегает на его лицо.

– Папа, – спрашиваю я, – а как у тебя все это было?

И детское воображение уже рисует картину: под низким хмурым небом по чавкающей осенней дороге бредут закованные в цепи арестанты, их мочит дождь, ошметья грязи из-под копыт казачьих коней летят им в лица, и нет конца этому печальному пути, и вот уже кто-то из несчастных со стоном валится на холодную землю...

Семнадцатилетним юношей несколько месяцев брел по этапу мой отец.

Родился он в 1870 году, в семье потомственного пролетария, рабочего нижнесалдинских заводов (Нижне-Тагильский округ Пермской губернии) Гаврилы Тимофеевича Углова. Заработок у Гаврилы Тимофеевича был ничтожный, а семья большая, и старшие дети – дочери, которых на завод не устроишь... Поэтому сын Гриша на одиннадцатом году пришел в заводской цех.

Четыре класса приходского училища (образование, которым в ту пору мог похвастаться редкий из рабочих), природный ум, бойкий характер способствовали тому, что мальчик в четырнадцать лет уже был умелым слесарем и токарем по металлу. А это определило к нему и отношение взрослых товарищей – вместе с ними он участвовал в тайных собраниях, где под руководством исключенного из университета за революционную деятельность студента читалась запрещенная литература, обсуждались меры борьбы с предпринимателями...

Так продолжалось до тех пор, пока в рабочей среде не оказался провокатор. И самое обидное, что предал всех человек, которого и подозревать-то не могли, – из пролетарской семьи. Он сразу же получил повышение по работе, открыто похвалялся своими «успехами». А у Григория Углова, у всех других провели обыски и тут же уволили с завода с «волчьим билетом».

Григорий Углов, темпераментный по натуре человек, забияка, участник слободских драк, вместе с другими подкараулил провокатора, и они хорошенько проучили его. И хотя драки в слободе – явление привычное, дня без них не обходилось, в этом случае полиция вмешалась живо. Делу придали политическую окраску, состоялся скорый суд: ребят осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Вначале острог, а потом и этап – под конвоем, в одной связке с уголовниками, убийцами, клеймеными разбойниками...



Здесь, в Сибири, отцу было разрешено жить в районе между Качугом и Витимом. Долго он скитался в поисках работы, кормился тем, что чинил по деревням посуду, нанимался пасти лошадей, помогал местным жителям в уборке урожая, а в длинные зимние вечера, когда на улице трещал жестокий мороз, становился даже сказочником – за умение живо, увлекательно и весело рассказывать получал кусок хлеба и возможность переночевать в тепле. Тут, конечно, выручала давняя привязанность к книгам, в рассказах был удивительный сплав когда-то вычитанного и приукрашенного собственной буйной фантазией...

Скитания продолжались до тех пор, пока не подвернулась удача: взяли масленщиком на пароход «Каролонец». Пароход, принадлежащий богатому судовладельцу, курсировал по широкой, неоглядной Лене. Теперь были постоянная работа и твердый заработок. А главное, пароход – это машина, механизм, это железо, то, по чему скучали руки отца – заводского человека. Летом – в плавании, а зимой, когда «Каролонец» стоял в затоне, Григорий Гаврилович Углов удивлял всех в мастерской умением исполнить любую, самую тонкую слесарную и токарную работу.

Осенью 1889 года «Каролонец» с большим грузом вышел из Витима. Внезапно начались ранние жестокие морозы, по реке навстречу плыла шуга, плиты колес, ударяясь о льдины, ломались, приходилось их чинить в ледяной воде. Ход был медленный, а всем – капитану, механику, матросам – хотелось дойти до Киренска, где жили родные. Но усилившиеся холода остановили реку, заковали ее в ледовый панцирь – помятый, ободранный пароход с большим трудом пробился к пристани Бабошино. До Киренска оставалось пятьдесят пять непреодолимых километров.

Пришлось зимовать в Бабошино. «Каролонец» поставили на прочные балки, ремонтировали, заменяли пришедшие в негодность части, красили... Хотя и долгим был рабочий день, но молодость брала свое – при первой возможности, особенно по воскресеньям, Григорий Углов с друзьями уходил на гулянье в соседнюю деревню Чугуево.

Вот тут-то я и должен перейти к рассказу о своей матери, сыновнюю любовь и большое уважение к которой не стерли годы.

А рассказ о матери необходимо начать с далеких дней, на событиях которых – ответ самой русской истории...

По реке Лене, дивясь ее простору и дремучей красоте таежных берегов, плыли на лодке три плечистых синеглазых и русоволосых брата Бабошиных: старший – Афанасий, средний – Иван, младший – Егор. В поисках лучшей крестьянской доли добрались они сюда из полунищей степной России... Во время ночных стоянок дикие звери непугано ходили вокруг их костра, а братья, еще боясь поверить в свое счастье, подбадривали друг дружку: тут не пропадем, тут жить можно!

Плыли неспешно, приглядываясь, где бы поселиться навсегда, чтобы не только для охоты раздолье нашлось, чтоб хлеб сеять можно было.

Осенью добрались до Киренска. Тут, в четырех верстах, закладывалась деревня Хабарово. Бабошины, мастера на все руки, решив подкопить деньжат, нанялись рубить, ставить и отделявать избы, и зазимовали здесь. Когда прошумел ледоход, собрались в путь-дорогу, но средний, Иван, заупрямился: крепко держала парня местная красавица. Старший и младший, ругая и жалея Ивана, отплыли вдвоем...

Скоро ль, долго ль плыли, но однажды достигли такого места, которое очень им приглянулось. Небольшая быстрая речушка впадала в Лену, рядом голубело озерцо, где воду копить можно, а кругом нетронутый лес. Братья видели: мельницу поставить – лучше не найдешь места.

По речке жили тунгусы, промышлявшие охотой. Бабошины пошли к ним с поклоном – проситься в соседи.

В большом чуме собрались старики – сидели на оленьих шкурах, важно курили трубки с длинными тонкими мундштуками, смотрели на двух рослых молодых русских мужиков.

– Однако зачем пришли сюда? Для чего просили собрать старейшин?

– В соседи желаем.

– Однако что делать будете? Охотой не проживете, надо в тайгу далеко ходить, вы не умеете. А земли – хлеб сеять – нет. Мы зерно охотой зарабатываем, меняем... а вы что?

– А мы хлеб будем мельницей зарабатывать. Построим водяную мельницу, молоть станем – у хлеба без хлеба не останемся.

– Это какая такая мельница?

Тунгусы непонимающе переглядывались, братья – как могли, словами и жестами, – объяснили. Тунгусы наконец поняли, заулыбались, возбужденно заговорили на своем языке. Старшина сказал:

– Польза от вас, однако, есть. Оставайтесь. Будем давать наш хлеб молоть. Руками зерно мелем-мелем, долго, однако! На охоту ходить некогда...

И вскоре потянулись подводы с мешками к Бабошиным, или – как говорили местные – на Бабошиху. Так называли мельницу, речку тоже стали звать Бабошихой, а когда по Лене пошли пароходы, другого имени для пристани не искали: Бабошино.

Так мои прапрадеды (по материнской линии) закрепили в Сибири свою фамилию.

А деда моего – уже внука старшего из Бабошиных, Афанасия, – звали Николаем Петровичем. Он рано остался вдовцом, с двумя малолетними детьми на руках – трехлетним Ефимом и двухлетней Настасьей, моей матерью.

До конца дней своих горевал дед по жене – Варваре Семеновне, и вся любовь тоскующей души была направлена на детей. Из-за них он не женился снова, попросил лишь своего брата Осипа, чтобы днем, когда занят работой, Ефим и Настенька находились бы под присмотром в братниной семье. Несмотря на уговоры Осипа и его жены, он каждый вечер, как бы поздно ни возвращался с поля или из леса, уносил на руках спящих детей в родной дом, говоря, что без них ему света нет.

Хотя и не знал Николай Петрович Бабошин грамоты, но человек был любознательный, впечатлительный – хотел он видеть дальше того, что окружало его, и поэтому в доме деда часто находили приют ссыльные, особенно политические. Совестьливый, он ни в каких делах не шел на обман, на хитрость и как ни тянулся изо всех сил, сколько ни работал – бедность не отступала. Забегая вперед, скажу, что «по наследству» перешла она и к сыну, Ефиму. Рано возмужавший в тяжелом крестьянском труде, что только не делал он, чтобы

выбиться из нищеты, даже уходил золото мыть на Бодайбинские прииски, но призрачная мечта о сытой жизни так и оставалась мечтой...

А Настенька, на которую отец молиться был готов, как две капли воды походила на свою покойную матушку. Уже с двенадцати лет девочка самостоятельно вела весь дом. Отец с Ефимом уходили корчевать пни, чтобы хоть добавочный кусок пашни отвоевать у тайги, а проворные руки Настеньки то на огороде мелькают, то в хлеву у коровы, то обед она стряпает, пол моет, белье штопает...

Остановливавшиеся в доме ссыльные удивлялись: такая маленькая, ребенок еще, и столько у нее забот, и поиграть-то с ровесниками некогда, жалко девочку! Некоторые из них, находившие тут приют и ласковое слово в трудную для себя пору, надолго задерживались, помогая Настеньке, как могли.

Впоследствии мать рассказывала нам про одного из таких – про каторжника Каллистрата.

Двадцать пять лет провел Каллистрат в сыром подземном руднике, прикованный цепью к тачке. Когда пришло желанное освобождение, не мог он уже выпрямиться в полный рост, не разгибались у него и пальцы на руках. Зайдя в ненастный день обогреться, он так и остался в доме Бабошиных навсегда, стал в семье своим человеком. И мать, вспоминая его, говорила: «Каторжником Каллистратушку называли, а добрее человека трудно было сыскать!» Несмотря на искалеченную жизнь, на болезни, он сохранил ясность души, способность к доброй шутке... Зайдут к повзрослевшей Насе подруги или знакомые ребята, а Каллистрат на глазах у них вдруг вытаскивает из Настиной постели сучковатое полено, говорит: «Капризная царевна заснуть не могла, когда ей под перину горошинку положили, а наша Настенька сегодня на бревне распрекрасно выпалась!» И заливается при этом веселым добродушным смехом, и всем другим весело...

Когда я слушал рассказы матери и отца про людей, подобных Каллистрату, зарождалось во мне желание пристальнее взглядеться в своих земляков, с невольным восхищением думал я о сильном и терпеливом русском человеке, достоинство и доброту которого не могут вытравить никакие невзгоды, самые тяжкие испытания.

С тех пор помнится мне одно стихотворение, неизвестно кем написанное, сложенное, возможно, в народной среде, – о характере истинного сибиряка. При всей неприязнительности, внешней простоте этих строк, в них, по-моему, очень

верно подмечены и как бы сконцентрированы те душевные и деловые качества, что отличают русского человека:

Смелость, сметливость, повадка

Ездить по стране,

Чистоплотность, ум, приглядка

К новой стороне.

Горделивость, мысли здравость,

Юмор, жажда прав,

Добродушная лукавость,

Развеселый нрав.

Политичность дипломата

В речи при чужом.

Откровенность, вольность брата

С истым земляком.

Страсть горячая к природе

От степей до гор,

Дух, стремящийся к свободе,

Любящий простор,

Поиск дела, жажда света.

Знать: да что? да как?

Стойкость, сердце золотое!

Вот наш сибиряк!

И это – умение с достоинством встретить и вынести любую напасть, желание помочь другим, охота к труду – были в нашей матери. Однако я, кажется, тороплюсь – нужно вернуться к тем дням, когда в деревне под отцовской

крышей жила работающая, умная девушка Настенька. Впрочем, уже тогда, в семнадцать своих лет, за прилежность, скромность, за то, что с детского сиротского возраста, не жалуясь, а с улыбкой, самостоятельно вела она хозяйство, деревенские величали ее почтительно: Настасьей Николаевной. Даже на молодежных вечеринках парни обращались к ней по имени-отчеству.

Уже взрослым услышал я в деревне рассказ. Может, и ничего особенного в нем нет, так себе, крошечный эпизод, но в эпизоде этом, в том, что через многие годы остался он на памяти чугуевских жителей, ощущалась их уважительность, доброжелательность к Настасье Николаевне.

А дело было так. Чугуевских ребят и девчат пригласили на гулянье в село Горбово – по соседству, за пять верст. В разгар вечеринки вышло какое-то недоразумение, и серьезное: горбовские парни, вспылив, выскочили из избы на улицу, стали выламывать колья, грозились ножи в ход пустить. Гости же заперли двери на засовы, притаились: в чужой деревне – не в своей!

Выманивали, выманивали горбовские чугуевцев, но те отмалчивались. И вдруг в окно, разбив стекла, влетел конец огромного бревна, со свистом стал ходить по избе – от стены к стене. Ребята разбежались – кто в сени, кто на кухню. Девчата с визгом полезли под стол, под лавки, забились на печь. И только Настенька, выбрав момент, села на разгуливающее, сокрушающее домашнюю утварь бревно, оправила юбку и запела! Бревно вздрогнуло, покачнулось и замерло. За окном грозно спросили: «Это кто сел на бревно?» – «Я», – ответила Настенька и, обращаясь к главарю горбовских парней, шутливо-укоризненно сказала:

– Это что ж, Василий Васильич, вы такую игру выдумали? От нее не весело, а один шум. И скучно нам: пригласили, а сами на улице развлекаетесь, гости-то без хозяев – это правильно?

Разбушевавшийся Василий, польщенный вниманием Настеньки, ответил ей вежливо, с готовностью услужить:

– Мы к вам, Настасья Николаевна, завсегда по-хорошему!..

А Настенька в этот момент шепнула своим, чтоб двери открыли, и бояться не нужно, а если не пустить Василия с дружками, они избу по бревнышку раскидают... Василий вошел, сняв шапку, поклонился и, чтобы показать, какие

они тут, в Горбово, щедрые, гостеприимные, приказал своим приятелям:

– А ну на стол – конфеты, вино, орехи!

Настенька подругам шепнула: «Пойте!» А сама Василия за руку в хоровод ведет, говорит ему:

– Вино до следующего раза обождет. Попляшем, попоем да восвояси... С утра молотить, и кони голодные стоят, на них утром работать. Ждем вас у себя, Василий Васильич!

Тот чубатую голову склонил:

– Мы, Настасья Николаевна, с полным нашим удовольствием!..

Уехали из Горбова с миром, а в поле дали волю смеху: покаталась Настенька на бревне! И если б не это катанье, погуляли б колья по спинам чугуевских ребят, и кого-нибудь домой изувеченным повезли...

Вот в ту пору на одной из вечеринок заприметил и полюбил Настеньку с первой же встречи Григорий Углов, гармонист, любитель помериться силой в драке, но и – знали все – мастер «золотые руки», умеющий, как никто другой, работать. Лихо носил он матросскую фуражку, ходил форсисто, дерзко и насмешливо поглядывал на других. Шел ему девятнадцатый год.

Зачастил Григорий в Чугуево! Настеньке тоже по сердцу был этот парень – белолицый, смелый, и лишь не нравилось ей, что охотлив он до пьяных гулянок, дебоширит, уж очень настойчиво, не стесняясь никого, преследует ее, в дом повадился ходить, с Ефимом для этого дружбу свел...

Заслал Григорий, как обычай требовал, сватов, но не тут-то было. Сама Настенька, покоренная преданной любовью Гриши, уже соглашалась на замужество, но отец со сватами даже разговаривать не стал, показал им от ворот поворот. Не мыслил он свою жизнь без дочери, не мог представить даже, что уйдет она из дома, а тут к тому ж и домогается ее пришлый, чужой человек, который хоть и мастеровой, но от земли далек, катается на пароходе вниз и вверх по реке, и неизвестно еще, куда он увезет Настеньку, будет ли она с ним

счастлива... Нет уж!

Три года подряд – осенью, когда «Каролонец» становился на зимовку, и по весне, когда уходили в плавание, упрямо засылал Григорий Углов сватов в дом Бабошиных. Лицом почернел, про веселые песни забыл и не мог отступиться. Однажды, отчаявшись, пришел к закадычным друзьям Николая Петровича – Матвею Лаврентьевичу и Пелагее Ивановне, сказал, что на колени перед ними упадет, только пусть помогут, сосватают Настеньку, а то уж и жизнь не мила... Но Николай Петрович и тут остался непреклонным, да еще строго выговорил своим друзьям, чтоб не сердили его, ничего с этой затеей не получится.

Однако Пелагея Ивановна, задобренная гостинцами Григория, женским чутьем понимавшая, что при такой пылкой любви дело нужно добром кончать, снова уговорила Матвея Лаврентьевича пойти к Бабошиным. Но Николай Петрович, когда они вошли в дом, на приветствие не ответил, полез на печь, лег там, отвернувшись к стене. Тогда Пелагея Ивановна тоже полезла на печь, повела с хозяином разговор о том о сем – про цены на хлеб, про диких кабанов, что повадились из леса на огород бегать, урон от них большой, про погоду еще... Николай Петрович тоже понемногу разговорился. А сваха долго искала что-то у себя в карманах, нашла и протянула ему: «Поешь!» – и сама себе в рот положила. Николай Петрович пожевал, спросил: «Ты чего это, кума, чесноком меня кормишь?» – «Иль не вкусно? – ответила Пелагея Ивановна. – Хлебушком нужно заесть. Пойдем к столу». Так спустились с печи.

А за столом, продолжая разговор, Пелагея Ивановна неожиданно сказала: «Дай-ка руку, кум!» Николай Петрович, ничего не подозревая, протянул руку, Матвей Лаврентьевич быстро принял ее, а проворная сваха со словами: «Господи, благослови!» – тут же разняла их руки. Николай Петрович на божницу взглянул, а там восковые свечи тихо теплятся. Выходит, ударили по рукам, у него взяли согласие на замужество дочери. «Настасья!» – закричал Николай Петрович таким голосом, что всем жутко стало, и зарыдал безутешно, уронив голову на стол...

Какие слова нужно найти, чтобы написать о материнской мудрости и материнской любви? Написать вообще о матери и, что самое трудное, о своей матери, которой обязан всем.

Передо мной – пожелтевшие странички писем былых лет. Вот неровные, торопливо бегущие строчки, выведенные рукой моей двоюродной сестры Ольги,



дочери Ефима Николаевича. Женщина в годах, она возвращается памятью в незабываемые дни детства, и главное лицо в ее воспоминаниях – тетя Настасья, моя мать.

«Меня поражала всегда тишина в доме у вас, – рассказывает Ольга. – Никто никогда ни на кого не кричал, никто не плакал, не жаловался. Все шло как хорошо заведенные часы: тихо, спокойно. Все работали по силе своих возможностей. У старших детей – большие работы, у младших – малые. Если сказали – вычистить двор, его сейчас же чистят, не оставят на потом, никто не убежит к соседям играть. Мои родители нередко посылали меня к куме Настасье, как говорила мама, на исправление поведения. Потом она спрашивала у тети Настасьи: «Ну, как моя дочь себя вела?» А тетя Настасья всегда хвалила меня и удивлялась, почему я непослушная дома. Скажет, бывало, маме: «Ты с ней будь ласковой, она и станет послушна». Я называю тетю Настасью великой матерью.

Сколько лет прошло, а помнится такая картина. Вы тогда жили у тети Нилы, была осень или лето, и мы с братом Колей ночевали вместе с вами. Мы на полу, вы на кровати, а у кровати висит зыбка. Я проснулась от тихого разговора. Тетя Настасья кормила ребенка. Потом она подошла к каждому, поцеловала меня, думая, что я сплю, кому подушку поправила, кому одеяло – ко всем прикоснулась, всех приласкала...»

Сколько волнующих воспоминаний вызывают у меня строчки этого письма! Ведь она, наша мама, совсем не ходила в школу, была неграмотной, но, обладая прекрасной памятью, легко запоминала содержание книг, что читались в доме вслух, неплохо знала историю русского народа, помнила даты важных событий, имена и дела выдающихся людей. Ее суждения были просты, человечны, поражали глубиной обобщений и своей безошибочностью. Особенно близко к сердцу принимала она судьбы своих односельчанок, в разговорах всегда защищала женщин и нам говорила: «Женская доля тяжелая, с положением мужчины не сравнить. Женщина, кроме большой работы, несет на себе заботу о семье, о муже, часто не слыша доброго слова. А даст она волю сердцу – тут ей позор и оскорбления ото всех!»

Однажды, бросив вызов деревенским порядкам, одна наша соседка ушла от мужа к поселенцу из ссыльных. По тем временам это был героический поступок. Вчерашние подруги плевали ей вслед, норовили за волосы ухватить, оскорбляли, как могли... И моя сестра Ася – ей было лет пятнадцать – сказала маме:

«Аннушка казалась хорошей, а поступила так, что прощения ей нет!» Мама помолчала немного, словно раздумывая, сможет ли дочь понять ее, и ответила: «А ты, Ася, не чужим словам доверяйся, а сама подумай. Ведь Аннушка, живя с Макаром, ходила ежедневно в синяках, кроме ругани, ничего не слышала. Не жизнь у нее была, а мука. Вот она и потянулась к совестливому человеку... Ты, Ася, подумай!» – «Я поняла, мама», – сказала Ася, опустив голову.

Позже, в 1919 году, хороший знакомый моей сестры попал в колчаковскую тюрьму. Мама напекла пирожков, положила еще кое-что из домашней снеди в корзинку и сказала расстроенной Асе: «Отнеси ему». Сестра, конечно, рада, но все ж говорит матери, как советуется: «Удобно ли? Ведь все будут знать: ходила в тюрьму на свидание с молодым человеком. Что скажут люди? Что он сам подумает?» – «Иди, – поторопила мать. – Лишь бы ты сама и я плохо не подумали. А он будет рад, что ты в беде навестила его, не боясь пересудов...»

Мать, с сочувствием и, как я сейчас могу судить, с большим пониманием относилась к политическим ссыльным, сознавая, что все их «преступления» – от стремления облегчить жизнь народа. Таких же взглядов, конечно, придерживался и отец. И нужно подчеркнуть, что политические, в основном незаурядные, интеллигентные люди, оказывали заметное влияние на местное население. Их внешне кажущаяся безобидной, не представляющей вреда существующему порядку просветительская деятельность (беседы по разным вопросам культуры и науки, организация драмкружка, занятия с малограмотными) носила ярко выраженный политический, революционный характер. Многие из них бывали в нашем доме. Я хорошо помню Филимонова, приходившего чаще других. Его разговоры с родителями – о сущности религии, классовом расслоении общества, происхождении человека и разных формах общественного устройства – усваивались нами, детьми, формировали мышление, и, вероятнее всего, такие разговоры, общение с ссыльными помогли нам еще в юном возрасте полностью освободиться от суеверно-церковных представлений, возбудили интерес к серьезным, а не только развлекательным книгам.

Хочется привести тут один случай, не очень значительный, но характерный для обрисовки личности политического ссыльного.

Мама и Ася были в лавке. Сестра примеряла суконную жакетку. Асе в ту пору исполнилось четырнадцать, и ей впервые покупали такую дорогую и красивую вещь. Жакетка так понравилась сестре, что она ни за что не хотела снимать ее. А у мамы при расчете, как на грех, не хватало на эту покупку двух рублей, – по

тем временам деньги не маленькие. Она уговаривала Асю снять эту жакетку, примерить другую – подешевле, но Ася никак не соглашалась, слезы текли у нее по щекам. И вдруг один из покупателей подошел к приказчику и сказал: «Я доплачу недостающие...» Отдал деньги и поспешил уйти из лавки, так, что мама и поблагодарить его не успела. А приказчик заметил: «Это политический-с!..» И кто-то из покупателей добавил: «Они с себя последнюю рубаху снимут, а помогут...» Об этом случае не забывали в нашей семье. И мама, рассказывая о нем, давала нам понять: так должны поступать люди, вот вам пример для подражания...

И если тут уместно слово «везение», скажу: моим братьям, сестрам, мне крупно повезло, что наши родители ясно сознавали высокое значение образования, до нужды доходили, но нас, детей, учили, отдавая этому последние силы и заработанные в поте лица деньги. В редкой крестьянской или рабочей семье в те времена было такое. Считалось обычным: три-четыре зимы в школу побегал, писать, считать мало-мальски научился – чего же больше-то! Обувка дорогая, книжки дорогие, и в хозяйстве дел невпроворот. Девочек вообще в школу не пускали: вначале, подрастая, она по дому помогает, потом и вовсе к мужу уйдет, а чтобы стряпать да детей нянчить, грамота ни к чему... Подобным образом, например, рассуждали в семье наших ближайших родственников – у дяди Ефима, родного брата матери. И я снова сошлюсь на одно из писем Ольги Ефимовны.

«Я расскажу тебе, – писала она с неизбывной горечью, – как, крадучись, стоя за спиной брата Николая, узнала я название четырех букв. Затем он стал учить дальше, и я запоминала другие. А мама, которая категорически запрещала мне смотреть в книгу, видя, что я все-таки учу буквы, стала сажать меня в подпол. Я оттуда хорошо слышала «зубрежку» брата и так, на слух, выучила азбуку. А написания букв, конечно, не знала. Тайно охотилась за букварем, но мама и Николай прятали его. И особенно – отец. Он сказал маме, что если я, не дай бог, выучусь грамоте, он прибьет ее, а Кольку заберет из школы.

Если мне все ж удавалось на короткое время завладеть букварем, я сломя голову бежала с ним во двор. Во дворе лежала старая таратайка без колес. Я приподнимала ее и ныряла под нее. Сперва ничего не видно – облако пыли окутывало меня, и когда оно рассеивалось, я, скорчившись, жадно разглядывала буквы. К каждой букве была картинка: У («усы»), О («оса»)... Картинки выручали! Дошла, помню, до рисунка, на котором изображен горшок с идущим из него густым паром, и растерялась: что это? – Г («горшок») или П («пар»)?

Писать об этом неприятно, но меня сильно били, а после порки ставили в угол, заставляя при этом держать в руках ухват или веник. Брата выводили к гостям как будущего кормильца на старости лет и школьными успехами его хвалились, а меня держали в подполе. Мелькала мысль: бросить все и бежать за тридевять земель из дома. Но я пересиливала себя... Помогли мне ссыльнополитические, жившие в нашей деревне две зимы. В Великий пост родители на семь недель уезжали в село, где была церковь, и я в это время бегала к ссыльным, а они помогали мне усваивать грамоту...»

Даже сейчас, по прошествии длительного времени, это правдивое, выстраданное повествование о судьбе крестьянского ребенка в дореволюционной России оставляет чувство щемящей тоски и боли. Перечитывая письмо Ольги, я мысленно кладу его в томик Чехова, раскрытого на страницах известного всем рассказа про Ваньку Жукова...

К слову сказать, Ольга Ефимовна уже при Советской власти получила неплохое образование. Стала зубным врачом, а кроме того, в ней сказалась и способность к литературе. Она опубликовала несколько сборников народных сказок.

Хоть обещал когда-то Григорий Углов любимой золотые горы – жизнь определяла по-своему. Не помню своих родителей в праздном отдыхе. Главное, что осталось от раннего детства, – это дороги, дороги...

Летом, в навигацию, пока отец ходил на пароходе, мы жили в деревне у двоюродной сестры матери, Неонилы Осиповны. Поздней осенью мать обряжала нас в дальний путь, и мы всем выводком отправлялись к месту стоянки парохода. А зимовки каждый год были в разных местах – в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены, где-то близ Олекмы. Такой была жизнь семьи долгое время – с 1890 по 1915 год, пока отец не скопил денег на покупку домика в Киренске.

Нас было шестеро: три брата и три сестры. У матери, терпеливо следовавшей за отцом к очередному временному месту жительства, всегда был на руках малыш. А надо только представить осенние дороги тех лет, чтобы понять те испытания и лишения, которые ложились на плечи путешественников, особенно из бедной семьи.

У нас еще имелось преимущество: отец был водником, и мы хоть с трудом, но все же могли попасть на пароход, проходящий мимо. Но для этого днями ждали на берегу, по-цыгански сидя на вещах, боясь далеко отлучиться.

Как сейчас вижу холодную, свинцового отлива круговерть речной воды, с неба сыплется снежная крупа, и вдруг – чей-то взволнованный голос: «Пароход иде-е-ет!» Мы со своим скарбом грузимся в большую лодку, выгребая на фарватер реки. Пароход, опасно подбрасывая на волнах нашу лодку, быстро проплывает мимо, и мама жестами тщетно упрашивает капитана прихватить нас с собой... Озябшие, подавленные возвращаемся на опостылевший берег, не ведая, сколько дней и ночей ждать следующего судна. А где-то переживая, напрасно встречает пароходы отец...

Нередко, прождав несколько томительных дней на берегу, мы возвращались в деревню ни с чем – ни один из пароходов нас не взял, а больше уже не пойдут, река стала... Теперь нужно ждать, пока установится санный путь: поедem на лошадях. Мама вздыхает – дорого, и путешествие трудное, долгое, детей можно застудить, – с нашими морозами да метелями шутки плохи. Но мне да и братьям с сестренками интересно. Сколько деревень проедem, сколько ночлегов впереди, и всюду разные, похожие и непохожие люди – будет чему радоваться и удивляться!

Из-за частых переездов поначалу в школу я не ходил: занимался с братом и сестрой дома. И лишь когда семья осталась зимовать в Алексеевском затоне, приняли меня сразу во второй класс приходской школы деревни Алексеевки, это в четырех верстах от затона. Утром – мороз ли, пурга ли – мы, затонские, бежали учиться, а вечером, в сумерках, торопились обратно. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. Только бы не сбиться с дороги, не заплутать! Знали мы, как часто замерзают в наших местах заблудившиеся путники... Ласковыми и родными казались притягивающие к себе огоньки пяти затонских изб. Чуть поодаль от них стояли закопченные мастерские.

В самом лучшем доме жил капитан парохода по фамилии Мая, в семье у него было девять девочек и один мальчик. Другой дом занимал помощник капитана. Третий – машинист. В четвертом же половина (две комнаты) была отведена отцу – он тогда служил помощником машиниста; в другой половине жили масленщики, по двое в комнате. В пятом доме – чернорабочие. Тогда-то я и увидел, в каких тяжких условиях проходила жизнь этих бедолаг.

Работали они много, делали беспрекословно все, что прикажут, ходили в рваньё, питались, как арестанты, из одного котла, спали на деревянных нарах, кое-как прикрытых тряпьем. Мало кто обращался к ним по фамилии, еще реже – по имени-отчеству. Звали или по прозвищу, или говорили: «Эй, ты!..» Был среди них пожилой человек с ввалившимися чахоточными щеками, которого называли Оська Трах-бах. Был Николай Голый, был Алешка Жижа – вялый, с развинченной походкой, неуверенными движениями рук. Может, тут вообще не знали их настоящих фамилий, их прошлого, – никому это и не нужно было. Спустя годы, читая «На дне» Горького, я мог себе сказать: такое я видел. И горьковские Васька Пепел, Клещ, все его босяки – это мои знакомые Оська Трах-бах, Голый, Жижа...

Кажется, единственный, кто в затоне говорил с ними, как с равными, не подчеркивая своего служебного и прочего превосходства, был наш отец.

Отца мы видели только по вечерам да в воскресенье. На работу он уходил чуть свет. Шаг у него был скорый, стремительный – редко кто поспевал за ним. И хорошо помню руки его: в затвердевших мозолях, шершавые, как рашпиль, но сколько в них было нежности, тепла, когда они прикасались к нам!.. Отец по натуре был мягким человеком, сердобольным, но характер имел сложный, переменчивый и лишь мамин такт смягчал его внезапную резкость. Случалось, выпивал, однако превыше всего ставил дело – не позволял себе из-за выпивки забыть про работу. При нас, детях, старался не курить, говорил нам: «Я курю с детства. Из-за невежества, что вокруг меня было. Никто не подсказал: брось, мол, не остановил... А вам курить не советую! Но если все ж потянетесь к табаку, дымите при мне, обещаю, что наказывать не стану. Накажу жестоко, если узнаю, что тайком папиросками балуетесь!»

Такой педагогический ход оказался разумным. Никто из детей в нашей семье не стал курильщиком – ни тогда, ни будучи взрослыми. К слову заметить, и сам отец позже нашел в себе силы расстаться с курением. А что курение – большое зло, наносящее непоправимый вред здоровью, я как врач убедился на множестве драматичных примеров. Об этом расскажу в одной из последующих глав.

Отец был, как уже можно, наверно, понять из всего рассказанного, примерным семьянином. Ценил семейный уют, любил что-нибудь мастерить, строить, красить, лепить сибирские пельмени... За такими занятиями шутил или песни потихоньку напевал, знал их много. Но если уж из-за какой-то помехи вспылит, взорвется – тогда держись! Иногда он в сердцах произносил бранные слова, не

адресуя их кому-либо конкретно. Но при детях, особенно при девочках, никогда не позволял себе этого. Бывало, отец вспылит, а мама ему скажет: «Григорий – дети!» И он тотчас же умолкнет. Мама стыдилась дурной привычки отца и старалась перед нами его оправдать, говорила: «Это у него от тяжелого детства, от того, что гнали его по этапу, издевались над ним». Может быть, поэтому, что я тоже переживал за отца, я за всю жизнь свою не произнес бранного слова. И когда слышу, что кто-то ругается, у меня невольно появляется чувство неуважения к этому человеку.

...Время, время! Мы оглядываемся назад, на безвозвратно ушедшие годы, – и в наших воспоминаниях возникает самое светлое время – негаснущее детство. Впечатления детских лет самые яркие, глубокие, и они во многом определяют то, какими мы становимся позже, в зрелую пору нашей деятельной жизни... Пишу эти строки, и хоровод трогательных видений мальчишеской поры кружит меня.

Пожалуй, наиболее глубоко запали в сердце четырнадцатый – пятнадцатый годы, как бы слившиеся воедино.

Слепит глаза река, а по ней вверх, к Киренску, плывут пароходы, баржи, мелькают весла, а вдоль берега, по дороге, идут подводы. Великое множество людей! Пьяно, под рыдающие звуки гармоней, несется песня отчаяния: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья...» Объявлена мобилизация: война с Германией. И черные платки скорбных старух словно угрожающе напоминают: быть беде в каждом доме, быть беде...

А потом ранней весной – наводнение! Небывалое! Такого и самые древние старики припомнить не могли. Гигантский затор льда протяженностью в несколько километров перегородил русло Лены, и буйная паводковая вода, неся поверху громадные льдины, хлынула на деревни, сокрушая избы, вырывая с корнем вековые деревья, срезая, как ножом, возвышенности. Наши дома стояли на круче, и льдины толкались буквально о порог, кипящие брызги летели в окна. Алексеевцы срочно собирали вещи, увязывали в узлы. Гнали скотину в лес, в горы. Со страхом и одновременно с восторгом смотрел я на разбушевавшуюся стихию: какая силища, какой простор!

Впереमेжку со льдинами неслись печальные останки смытых поселений: звенья срубов, обломки изгородей, вздутые туши коров, кухонная утварь. Проплыл чудом уцелевший сарай с живым петухом на крыше. И вдруг увидели мы: на очередной громадной льдине едет скособоченная изба, а возле нее в тоскливой обреченности стоят маленького роста человек и собака. Ближе они, ближе... И хотя это грозило великой опасностью, лодку могло опрокинуть, затереть льдами, ударить о бревно, залить студеной водой, наши мужчины решили помочь несчастной (уже видели, что это девочка лет двенадцати). Я в последний момент изловчился и прыгнул в отходящую лодку.

Мы боролись с течением, отпихивали от бортов ледяные глыбы, а они таранили нас. Было жутко, трое мужчин и мальчик могли надеяться лишь на себя. После, ночами, бессонно лежа с открытыми глазами, я восстанавливал подробности нашего поединка с бушующей стихией, и сладостное чувство победы, обретенной в суровой борьбе, впервые затронуло мое сердце...

### Глава III

Фабрик и заводов, кроме царского водочного заводика, у нас не было. Крупные богатеи жили далеко, в Иркутске, а мелкие торговцы-лавочники благоразумно отсиживались за прикрытыми ставнями, по-обывательски выжидая, что же будет дальше.

Три торжественных слова громко звучали на киренских улицах: свобода, равенство, братство! Особенно радостно было слышать и повторять их еще и потому, что в памяти многих не затухало эхо недавнего кровавого события – Ленского расстрела. Ведь Бодайбинские золотые прииски находились всего в четырехстах километрах от нас, и среди раненых, убитых, среди тех, кого после бросили в тюрьму, были родные и знакомые киренцев.

Оказалось, что в нашем городке долгие годы подпольно действовала большевистская организация, в состав которой входили ссыльные и передовые рабочие, учителя и служащие. Многие из них были удивительно молоды, как, например, наш восемнадцатилетний секретарь райкома партии Иван Васильевич Соснин, в то время, пожалуй, самый авторитетный человек в Киренске. Он и поныне в моей памяти, порывистый в движениях и твердый в словах, умевший



не только говорить, но и слушать. Из его уст на общегородском митинге я, тогда мальчишка, впервые услышал имя – Ленин.

Время, что и говорить, было бурливое, волнующее и опасное, особенно в те годы, когда на вершинах сопок и у города замаячили казачьи кони колчаковских разъездов... В нашей семье не утихала тревога за отца и брата Ивана. Хотя официально они и не состояли в коммунистической партии, но их сочувственное отношение к большевикам было всем известно.

О политических настроениях отца говорят, в частности, следующие строки из письма двоюродного брата Коли Бабошина. Он пишет: «Я очень любил дядю Григория и тетю Анастасию. Дядю Григория видел в последний раз в Киренске в 1919 году летом. Тогда меня мобилизовали и везли колчаковцы. Я забежал к нему с парохода. Дядя Григорий взял меня за плечи и сказал: «Коля, убегай из этой гнусной армии при первой же возможности». Я ему обещал и, как только заехали за Кочуг, убежал в числе первых. Наказ дяди Григория выполнил».

Однажды брат Иван лишь по чистой случайности остался в живых.

... Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Киренск занят белыми под командой полковника Еркамошвили. В городе введен комендантский час, по улицам ходят военные патрули, полевые орудия и пулеметы грозно нацелены на другой берег Лены – на ремонтные мастерские затона, на деревни Мельничная, Воронине, а также на деревню Бочкарево, расположенную вдоль реки Киренги. Там всюду большевики, их вооруженные отряды. Белые настроены нервозно, над каждым, кто кажется им подозрительным, вершится скорый суд и жестокая расправа...

В четырех километрах от города, в деревне Хабарово, тайно собрался крестьянский сход. Обсуждали один вопрос: как помочь красным? С деловыми предложениями выступил на сходе двадцатитрехлетний учитель Иван Григорьевич Углов... Разошлись, как и собирались, в полной темноте, а на рассвете в Хабарово ворвалась полурота белых. Потом узнали: на сходе незамеченным присутствовал переодетый офицер из семьи киренских мещан. Он немедленно доложил полковнику, что подстрекаемые учителем Иваном Угловым хабаровские мужики готовят лодки для красных.

Брат ночевал на сеновале. При аресте обнаружили у него браунинг, заставили одеться, и в сопровождении конвоя он был доставлен в штаб. Допрашивал его

сам Еркамошвили. Полковник, как ни странно, был по образованию врач, но, видимо, забыл об этом – отличался жестокостью, кровь и страдания несли с собой его казачьи сотни. Он со своей частью уже однажды стоял в Киренске, потом ушел вниз по Лене, к Бодайбинским приискам, но, потрепанный в боях с красными партизанами, вновь вернулся сюда с надеждой пробиться в Иркутск. Полковник задал брату два-три малозначащих вопроса и сказал, что за сопротивление правительственным войскам, агитацию в пользу красных он приговаривается к расстрелу! Два казака-урядника тут же встали за спиной Ивана. Он мысленно простился с белым светом...

В этот момент в комнату вошла молодая женщина. Случайно взглянув на брата, она воскликнула: «Ваня, а ты что здесь делаешь?!» Обняла, стала расспрашивать... Это была близкая подруга сестры Аси Шурочка Попова, дочь местной жительницы и политического ссыльного-грузина, из соображений конспирации принявшего фамилию жены. Шурочка, оказывается, недавно вышла замуж за полковника Еркамошвили, чего брат еще не знал.

Перейдя на грузинский язык, она стала что-то объяснять мужу, но полковник сердито отвечал: «Нет, нет!..» В это время в штабе появились уважаемые в округе крестьяне: узнав, что учителю Углову грозит расстрел, они составили прошение о помиловании, от имени нескольких деревень поручились за него. Полковник, прочитав бумагу, стал кричать на них, но, опомнившись, быстро взял себя в руки: положение было такое, что с местными жителями, особенно деревенскими, приходилось считаться. И Шурочка продолжала настаивать...

– В сорочке родились, молодой человек, – раздраженно сказал брату Еркамошвили. – Из дома не выходить, по вечерам вас будет проверять патруль. А мы тут посоветуемся...

Еще два раза арестовывали в ту пору брата и при последнем аресте повезли его под стражей в Иркутск, но в дороге стало известно: Колчак разбит! Стражники из «добровольцев» разбежались по своим деревням, а брат и другие арестованные невредимыми вернулись домой.

На восемь лет был старше меня Ваня, мы, младшие, обязаны ему многим. Романтик по натуре, преданный революционным идеям, он всегда был для нас примером: вот как нужно жить и работать для общего народного счастья! Отказавшись от выгодных предложений, он поехал простым учителем в самое глухое, отрезанное бездорожьем место: учил грамоте крестьянских ребятишек,

был пропагандистом народной власти. Сотни учеников Ивана Григорьевича, дети и внуки этих учеников трудятся сейчас в разных уголках страны, а сам он, после более чем полувекового учительствования, ушел на пенсию в семьдесят пять лет, отмеченный высокой наградой – орденом Ленина.

Он всем нам привил жажду знаний, а Советская власть дала возможность учиться. В результате все мы, дети малограмотного рабочего и неграмотной крестьянки, получили высшее образование, а сестра Таня стала профессором, заведующей кафедрой глазных болезней. Ей передались золотые руки отца. С редким искусством производит она сложнейшие операции на глазах. Отличается большой добротой души, завидной волей и самостоятельностью.

Именно пример брата, его влияние сыграли главную роль в судьбе моей старшей сестры Аси. Окончив гимназию в 1918 году, набрав чемодан книг, она бесстрашно поехала учительствовать в такое далекое село, где школьных учителей никогда и в глаза не видели, где вечерами еще сидели при лучинах и чужих людей встречали редко, при этом словно бы даже удивлялись, что где-то может быть совсем иная жизнь. Больше недели плыла она с провожатыми по несудоходной Киренге на узком неустойчивом стружке к месту назначения – в деревню Ключи (ныне Казачинско-Ленский район).

Рассказываю об этом, полагая, что хотя моя книга о труде хирурга, но хирург – человек со своим характером, взглядами, убеждениями, которые отражаются на его работе, и чтобы понять их, нелишни, по-моему, некоторые жизненные подробности, тем более что наше поколение, возмужавшее в революцию и в первые годы социалистического строительства, несет на себе как бы отблеск тех суровых незабываемых дней. По существу, тогда закладывался он, наш характер.

В четырнадцать лет я остался в семье старшим среди детей, и поскольку мать тяжело хворала, а отец с утра до вечера был на работе, нелегкие домашние заботы легли на мои плечи. Зимой в легком пальтишке, в ветхих солдатских ботинках, таких, что подошвы ног примерзали к подметкам, я колос дрова, топил печь, с тяжелыми санками, на которых стояла бочка, ездил на реку за водой, – туда под гору, а обратно наверх, по скользкому льду...

Перед мысленным взором проходят картины детства. В сорокаградусный мороз или пургу, по крутому взвозу, занесенному снегом, напрягая силы, тяну я обледенелые санки, на которых стоит тяжелая бочка с водой. Я тяну санки

рывками, отчего вода все время расплескивается, делая дорогу еще более скользкой. В одном месте я не удерживаю санки, они катятся вниз, и бочка опрокидывается, превращая скат в сплошную ледяную гору. Закоченевшими руками водворяю бочку на место и вновь направляюсь к проруби.

Сколько раз падала, обдавая меня студеными брызгами, проклятая бочка! Подниматься же с ней от реки нужно было не раз и не два – вода требовалась для семьи да еще для коровы.

В то голодное время, когда лавки закрылись, когда паек отец получал скудный и нерегулярно, корова была нашей спасительницей. Трудно было содержать ее, но и без коровы, особенно с малышами в семье, хоть пропадай! А как переживали за нее! Грянут жестокие морозы: как она там в хлеву? Кончится сено: где взять, чем кормить? И постоянное опасение было: сколько лихих людей развелось – уведут буренку со двора... По ночам с фонарем выходили смотреть: цела ли? Летом ехали в какую-нибудь дальнюю деревню – зарабатывать сено. Изъеденный в кровь гнусом, который в наших краях не давал жизни ни животным, ни людям, я косил, сгребал сено, возил его и помогал метать зароды.

Помню, как отправился в одну из таких заготовительных экспедиций по горной, порожистой Киренге за двести верст от дома, в деревню Вилуево... Птицей летел по бурной реке наш стружок – лодка, выдолбленная из целого дерева, легкая, но вертлявая, такая, что гляди в оба. Стоишь в ней с шестом в руках, и одна забота: не перевернуться бы, на мель не наскочить, на камень не налететь. Это – когда вниз, по течению. Если же против течения, с грузом к тому ж, – тут семь потов с тебя сойдет, нужно в совершенстве владеть искусством, как говорили у нас, ходить на шестах.

Во время стоянки я взобрался по крутому берегу наверх и замер, пораженный увиденной картиной! Синяя тайга оставалась справа, а впереди, в ярких цветах расстилалась равнина, залитая солнцем, как сказочный ковер она была брошена к подножию седых гор, четко выделявшихся на фоне ясного неба. Казалось, побеги сейчас по этой цветущей равнине – мои спутники не успеют чай на костре вскипятить, как я буду у горного хребта...

– Байкальские горы, – выслушав мои восторженные слова, пояснил шедший с нами на стружке местный крестьянин. – Однако, паря, бежать до них утомительно: триста верст с гаком будет. Кое-кто из наших зимой туда за сободем ходит.

Позже пришлось мне уехать из сибирских мест навсегда, увидеть разные края – Юг и Север, наши советские республики и заморские страны, многое меня восхищало своей красотой и неповторимостью, но где бы ни был я, где бы ни жил – любой чарующий пейзаж невольно сравнивал с сибирским, людей – со своими земляками, и выходило так: у вас хорошо, спору нет, но вы у нас побывайте! А у нас – это в Сибири.

В 1923 году я закончил учительскую семинарию, что примерно соответствует нынешней десятилетке. К этому времени детская мечта стать врачом оформилась в твердое решение: другого пути быть не может.

В сумерках, не зажигая света, мы сидим с отцом за столом, его руки устало лежат на скатерти, тяжелые, широкие в ладони, с расплюснутыми работой пальцами, темные от въевшейся в них металлической пыли. Я смотрю на них, слушая глуховатый, раздумчивый голос:

– Мне все труднее кормить семью, Федя. Но если хочешь в университет – не препятствую. Одного боюсь: как учиться-то будешь, я помочь тебе не смогу. Был, Федя, конь, да, как молвится, изъездился. Рассчитывай только на себя.

– Папа, я справлюсь, – отвечаю ему, а горло сдавлено волнением и жалостью. – Справлюсь!

– Загадывал, что пойдешь ты работать, – говорит он. – Сразу бы нас двое, работников...

– Не могу без того, папа, чтоб врачом не стать...

– Тогда с Богом. – И его ладонь тихо ложится на мою руку. В этом жесте все – одобрение, понимание, прощение, отцовское благословение.

Через день, получив от отца бесплатный билет водника для проезда в Иркутск, с испеченными мамой подорожниками в котомке я отправился в путь. До Иркутска от нас насчитывалось тысяча сто километров. Сначала четверо суток на пароходе до Усть-Куты, затем столько же до Жигалово, а отсюда предстояло путешествие по Лене до Качуга на большой лодке, прозванной шитиком. Вверх

по течению ее тащит идущая берегом пара сильных коней. Лошади перекладные – через каждые тридцать километров их меняют. Шесть суток потребовалось, чтобы наш шитик, одолев сто шестьдесят километров, причалил к качугской пристани. Хорошей была эта дорога для меня: новизна впечатлений, поразительная красота диких ленских берегов, ночевки у костра, разговоры со многими людьми и не покидающее ощущение, что с этого момента круто меняется вся моя жизнь.

Качуг встретил дождями, грязь здесь была такая густая, что того и гляди сапоги в ней потеряешь. До Иркутска от Качуга ходили обозы – иного транспорта не знали. Но мы, на наше счастье, застали тут грузовые автомобили – наверно, одни из самых первых в Сибири той поры. Сейчас новым космическим кораблям, пожалуй, не удивляются так, как дивились в сибирских деревнях этим грузовикам! Раскрытые рты, испуг, удивление на лицах людей. Коровы, заслышав рев моторов, очумело неслись от дворов куда попало, лошади рвались из оглобель, опрокидывали телеги. Все это я видел, сидя в кузове машины, радостный, несмотря на сумасшедшую тряску и то, что был весь заляпан дорожной грязью: то и дело приходилось соскакивать, подталкивать грузовик, подкладывать под его буксующие колеса жерди и доски.

На двадцать второй день пути я прибыл в Иркутск. Город поразил меня многоэтажными зданиями, широкими мощеными улицами, огромным количеством спешащих куда-то людей и множеством извозчичьих пролеток. «Ну, брат, – сказал я себе, – не пропасть бы!..»

#### Глава IV

На удивление мне председателем приемной комиссии оказался Иван Васильевич Соснин, бывший киренский партийный секретарь. Вряд ли он знал меня, но фамилия Угловых ему, конечно, была известна, и в том, что я сравнительно легко стал студентом, сыграло свою роль мое социальное происхождение. Вместе со мной на факультет пришли парни и девушки с заводов, фабрик, из деревень. Много было демобилизованных красноармейцев. Их потертые шинели, фуражки со звездочками, островерхие буденновки словно бы еще отдавали горьковатым пороховым дымом, напоминали о вчерашних смертельных боях на фронтах Гражданской войны.

Но вместе с ними в университет попадали и дети торговцев, мелких промышленников, а то и крупных богачей. Быстро ориентируясь в обстановке, они поступали куда-нибудь рабочими и через год-два шли в университет под именем «рабочие», хотя вся сущность их оставалась мелкобуржуазной. Подделываясь под рабочих, они сыпали грубостями, ругательскими словами, приводя в смущение не только девушек, но и мальчишек из подлинно рабочей среды. Они были все «сверхреволюционными». Вежливость, природную русскую застенчивость они высмеивали как пережиток старого, а хамство и ругань выдавали за «пролетарский дух». Мы их долго не могли раскусить.

А профессорско-преподавательский состав был, естественно, прежним. Большинство действительно хотело помочь нам приобрести знания, но все же мы, пролетарская молодежь, долго ощущали отчужденность многих из них, граничащую чуть ли не с брезгливостью. Привыкшие к прежней студенческой аудитории, близкой им по своему классовому сознанию, они иронично, а порой с нескрываемым презрением смотрели на нас, одетых в домотканые рубахи, гимнастерки и тяжелые сапоги, и конечно же, особенно на первых порах, речь наша была груба для их слуха, а манеры – неуклюжи и резки...

Вот почему, учитывая сложность университетской обстановки той поры, партия посылала сюда опытных коммунистов, таких, как Соснин. Отстаивая и проводя в жизнь партийную линию, они в своей работе опирались на авторитет и поддержку лучших представителей профессуры, которые без предубеждений отнеслись к новой власти, сочувствовали ее начинаниям и преобразованиям. На медицинском факультете, заинтересованно, уважительно относясь к нам, читали лекции и вели занятия крупные ученые того времени: анатом Бушмакин, знаменитый специалист в области эмбриологии и сравнительной анатомии Шевяков, блестящие хирурги Сапожков и Щипачев. У каждого из них был свой характер, свои особенности и даже свои профессорские причуды, но всех их роднила преданность науке, желание учить молодежь, стремление подготовить для России как можно больше высококвалифицированных врачей.

Казалось бы, скучная дисциплина – анатомия, а на лекции профессора Бушмакина, которые он читал для нас, приходили студенты выпускных курсов и даже врачи. Тесно становилось в аудитории, яблоку негде было упасть, локтями не двинешь, так сжимали со всех сторон. Особая привлекательность этих лекций была в том, что профессор приносил с собой остроумно изготовленные им самим наглядные пособия. Так, объясняя тему «Проводящие пути мозга», он пропускал тонкие бечевочки через нарисованные крупным планом срезы головного и

спинного мозга на различных уровнях, указывая центры, через которые они проходят. Тут уж можно было уяснить и осмысленно запомнить, а не механически зазубрить, что такое, например, «трактус-кортико-понтикоце-ребелло-дентата-рубро-спиналис».

Он очень умело вел групповые занятия в анатомическом зале. Каждый студент должен был тщательно отпрепарировать какую-то одну часть тела, но обязан был хорошо знать и другие, которыми в этот момент были заняты товарищи по группе. Все вместе, помогая друг другу, мы вечерами подолгу задерживались в анатомичке, и когда учеба на трупах подходила к концу, экзамен был сдан, профессор Бушмакин обязательно фотографировался с каждой группой отдельно. Эти фотографии мы, его бывшие студенты, храним как реликвию.

Запомнился профессор Щипачев, его высокая требовательность к проведению асептики при операциях. Больного тщательно мыли, закутывали в стерильные простыни и в таком виде ввозили в операционную. Здесь начинался целый ритуал, разработанный в подробностях: скрупулезно подготавливалось операционное поле, целая система щеток и разные антисептики пускались в ход при мытье рук... Сам хирург был молчалив – ни единого лишнего слова! И если вдруг он начинал тихонько напевать, мы понимали: профессору трудно...

Профессор Топорков часто любил повторять: «Что на мне нет белого жилета, я могу сказать. Но что у меня нет наследственного сифилиса – этого сказать не могу». В своих увлекательных лекциях он доказывал, что врожденный или приобретенный сифилис лежит в основе многих нервных заболеваний. Его лекции были хороши тем, что в них выявлялись слабые и сильные стороны противоположных методов и направлений, – они будили мысль, звали к самостоятельному поиску правильного решения.

В клинике нам пока ничего не давали делать самим: смотрите, вникайте! А нам представлялось: возьмем нужный инструмент и пойдет дело... И когда выпадала такая возможность, откуда только брался страх, в мгновение забывались все наставления, руки не слушались, не хотели делать того, что приказывала им голова. Нужно было учиться, учиться, и каждый день, проведенный под руководством ассистентов в клинике, был желанным.

Мучила латынь. Почти никто из нас, поступивших на медицинский факультет с рабфаков или приехавших из глухой провинции, латинский язык до этого не изучал. Сколько упреков было услышано нами, когда начались занятия по



фармакологии и рецептуре!

Но уже первые месяцы, проведенные в университете, сделали нас во многом другими: более собранными, уверенными. Мы поняли, что, учась на врача, нельзя разбазаривать дорогое время – только занятия, только книги... Не нужно, разумеется, думать, что не было у меня радостей, развлечений – все было! Однако в то горячее время, когда восстающему из разрухи молодому Советскому государству, как никогда, требовались свои надежные специалисты, мы сознавали: именно на нас очень надеются, нам строить социализм. Мы были чертовски боевыми, настырными ребятами: учиться – до темноты в глазах, спорить на диспутах – пока глотку не сорвешь, песни петь – пока все они не будут перепеты! Хотя и голодно жили, но без уныния – с комсомольским задором, как нынче пишут в газетах.

Стипендия была маленькая: на первом курсе – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Повозишь ложкой в тарелке и вздохнешь тут же: то ли ел, то ли это показалось...

В Иркутске жила Ася, моя сестра, была она замужем за бывшим киренским фельдшером Алешей Шелаковским. Теперь Алеша тоже учился на медицинском факультете. Вместе кое-как перебивались.

Брат Иван, учительствовавший в деревне на Лене, раза два за зиму присылал немного денег. Голова от недоедания частенько кружилась, но все ж терпимо было.

Снимал я небольшую проходную комнатку у тихих, не мешающих моим занятиям людей, а соседом по квартире был работник милиции Гаврилов – человек начитанный, преданный своей опасной (особенно по тем временам) профессии. Бывал он в частых перестрелках с контрабандистами, проникавшими на советскую территорию через китайскую границу, бесстрашно ходил на обследование многочисленных в Иркутске той поры воровских и прочих притонов. Вспоминаю его потому, что однажды он предложил мне пойти вместе с ним к наркоманам.

– Тебе, Федор, как будущему медику, полезно на них посмотреть...

В ночной час мы свернули с широкой центральной улицы на узкую боковую, по ступенькам спустились к закрытой двери полуподвального помещения. На вопрос, кто стучит, заданный по-китайски, Гаврилов тоже по-китайски отозвался: Четырехглазый. Нас тут же пустили. Оказывается, за круглые очки обитатели притонов окрестили милиционера Гаврилова «четырехглазым».

В нос ударил тяжелый запах гнили и застоявшейся сырости. В огромной комнате плавал сине-желтый ядовитый дым; приглядевшись, я увидел много людей, в разных позах сидящих и лежащих на захламленном полу. Кое-кто из них спал, кое-кто бредил, бормоча непонятные фразы, другие с тупой полусонной отрешенностью смотрели перед собой и – было видно – ничего не замечали. Иные же с блаженным выражением на лице курили длинные глиняные трубочки, наполненные гашишем. Как после объяснил мне Гаврилов, за щепотку гашиша, вот за такой миг – посидеть с заветной трубкой во рту – тут готовы на любое самое тяжкое преступление. Порок затмевает разум.

Среди всех особенно жалкий вид имели женщины, опустившиеся вконец, утратившие человеческий облик... Хозяин притона – толстый, с длинной черной косой и заплывшими глазками китаец – подобострастно отвечал на вопросы моего спутника. Гаврилов подошел к одному из обитателей подвала и попросил снять рубаху. Тот хотя и неохотно, но снял ее. Страшное зрелище представляло собой его тело, сплошь покрытое гноящимися струпьями. Это был морфинист, сам себе делающий уколы морфия. Так как при уколе шприц и игла, руки и тело не дезинфицировались, тут же возникало нагноение. Нагноения захватили спину, грудь, плечи. Еще ужасней выглядели у него ноги от паха до лодыжек – на них были огромные, незаживающие язвы. Зачастую морфинисты, подгоняемые нетерпением, вводят себе морфий прямо через одежду, не выбирая, где на теле здоровое место, где рубцы и струпья...

Гаврилов попросил снять кофточку молодую, но изможденную, с потухшими равнодушными глазами женщину, и она безропотно, без признаков смущения обнажила тело. Та же мрачная картина – язвы, сочащийся из-под струпьев гной... Мы осмотрели еще несколько человек, и я подметил: Гаврилова здесь слушают, даже уважают и боятся, и нет у них ни сил, ни желания к сопротивлению.

На улице я вдохнул полной грудью свежий воздух, дышал и не мог надышаться. Гаврилов сказал мне:

– Все они у нас на учете, мы прикроем эти притоны... Но... – Помолчав, добавил: – Наркоманию, конечно, так скоро не пресечем. Тяжелое наследие оставлено нам, и нужно лечить, лечить! Вы, врачи, должны многое сделать.

Потом спросил:

– Подгорную улицу знаешь?

– А что там?

– А частушку слышал?

По Подгорной я иду,

Сворочу налево,

Ко милашечке зайду —

Кому какое дело!..

До революции на Подгорной чуть ли не у каждого дома красный фонарь висел.

– Вы меня извините, – сказал я, – у нас, в Киренске, красные фонари не горели, я не знаю, для чего их вешают...

– Святая наивность! – Гаврилов засмеялся. – Такой фонарь – знак публичного дома. И хоть сейчас фонарей не увидишь, публичные дома кое-где в городе содержатся. Опытные вербовщики ловят для них малолетних девушек, молодых женщин, попавших в беду... Удивлен? Вот и знай, какая громадная работа предстоит по оздоровлению общества. Уставать некогда, Федор! Зато завтрашний день будет светлым и чистым!

Мне неизвестно, как в дальнейшем сложилась судьба Гаврилова, но ярко запомнился он – один из энергичных тружеников первых лет Советской власти, посвятивший свою жизнь борьбе с самым темным и гнусным, что выплеснул на городские окраины, как накипь, погибающий капитализм.

Зима в Иркутске – лютая: трескучие морозы, затяжные метели. Пообносившийся, легко одетый, бегал я на занятия рысцей. В аудитории, когда занимал своё место, долго дул на пальцы, они не слушались, не могли карандаш держать, а ноги нестерпимо кололи тысячи острых холодных иголок... С Алешей Шелаковским решили: как только сдадим весенние экзамены, поедem на реку Лену зарабатывать деньги на одежду и обувь.

Так и сделали... После утомительного пути до Качуга, отдохнув ночь, пошли искать себе работу. Алеше повезло сразу: его приняли на должность приказчика на торговый паузок (особой постройки карбас с высокими бортами и крышей), он мог теперь спокойно и безбедно плыть до Киренска. Мы попрощались с ним, и я уже в одиночку продолжал толкаться среди пристанского люда, узнавая, где какие работники требуются. Выяснил, что самое подходящее для меня – наняться на сплав груженных карбасов.

Карбас – это нечто среднее между плотом и баржой. Квадратной формы, он сделан из толстых досок, ширина его семь-восемь метров, длина двенадцать-четырнадцать. Борта в нижней части обшиты толстыми бревнами, чтобы судно не боялось нечаянных ударов, а сбоку от карбаса, удерживаемая канатами, плывет по воде плица – полуметровой ширины доска в двенадцать метров длиной. Это – приспособление для снятия карбаса с мели. На таких карбасах в пору весеннего половодья сплавлялась основная масса грузов для снабжения населения Ленского бассейна. Работа на них под силу лишь крепким, выносливым людям.

Два карбаса связывают кормой к корме, чтобы носами они смотрели в противоположные стороны, а спереди и сзади устанавливают по огромному веслу из бревна средней толщины. На каждом весле, послушные командам лоцмана, стоят посменно по четыре рабочих. Лоцманами, как правило, плавали местные крестьяне, хорошо знавшие фарватер реки, все ее капризы. От них главным образом зависел успех сплава, от их опыта и умения. А попадется горе-лоцман – рабочим мучение! Если опытный заставляет грести, лишь когда требуется, только в нужном направлении, то от бестолковых команд плохого лоцмана связка карбасов мечется от берега к берегу, гребцам передохнуть некогда, и смотришь – вынесло карбасы на мель! Значит, лезь в холодную воду, налаживай плицу, сталкивай связку с опасного места...

Правда, в таком случае лоцман стремился первым прыгнуть за борт, пример показывал, ведь на сплав нанимались отчаянные ребята, много среди них было

уголовников, неизвестно откуда попавших в Сибирь людей... Им ничего не стоило схватить лоцмана за руки-ноги и силой бросить в воду: взялся – гляди в оба, не зевай, не пропускай мели-перекаты!

Вот на такую связку из двух карбасов попал и я. За дорогу до Киренска платили сорок или пятьдесят рублей, а до Якутска – все сто.

Среди моих новых товарищей оказались два-три любителя острых приключений и бывшие заключенные, золотодобытчики-неудачники с Алдана и Витима и какие-то неопределенные личности, перед отплытием спустившие в кабаках последнюю одежонку... Густой мат летел с наших карбасов и уносился к берегам. Хорошо еще, что на Лене существовал железный закон – не брать в рот ни капли спиртного, пока связка не дойдет до места назначения. По стакану водки для согревания получали как исключение лишь те, кто в холодной воде сталкивал карбас с мели...

В первый же день за то, что не употреблял бранных слов и ко всем обращался предупредительно-вежливо, я был прозван «мазунчиком» и «салагой», надомной стали издеваться и даже грозились, если уткнемся в мель, бросить вместе с лоцманом за борт! Так уж почему-то водится в компаниях: не похож на всех, белая ворона – значит, клюй его, ребята!.. Слава богу, до вечера на мель не сели, остался я сухим, хотя несколько злых тычков в спину мне досталось. Я, признаться, упал духом, и когда в сумерках причалили к берегу, развели костер, стали ужин готовить, нахохленно сидел в сторонке. Багровые отсветы огня, молчаливая тайга за спиной, темное серебро реки и звезды, отразившиеся в ней, грубая речь моих спутников... Что это напомнило мне? Пушкина!

Я подвинулся ближе к костру и твердо, с большой выразительностью и жаром стал читать вслух. И угас разговор, всякий шум, только слышался мой голос:

Не стая воронов слеталась

На груды тлеющих костей,

За Волгой, ночью, вокруг огней

Удалых шайка собиралась.

Какая смесь одежд и лиц,

Племен, наречий, состояний!

Из хат, из келий, из темниц

Они стеклися для стяжаний!

Много раз декламировал я «Братьев-разбойников» со школьной сцены, пользовался успехом, но, наверное, никогда не был в таком ударе, как в тот вечер. Видел блеск горящих глаз, улавливал взволнованное дыхание вокруг себя. Слабело пламя костра, и никто не пошевелился, чтобы подбросить хворосту. Костер вскоре загас совсем. В полном мраке, окутавшем нас, лишь зловеще светились затухающие угольки, а я читал и читал:

Не он ли сам от мирных пашен

Меня в дремучий лес сманил,

И ночью там, могущ и страшен,

Убийству первый научил?

О чем думали мои слушатели в этот момент? Скорее всего о своей бродяжьей судьбе, о той дикой силе, что подхватила их, заставила покинуть родной дом, очутиться среди глухой тайги. Куда дальше ведет дорога, куда? Пушкин волновал их так, словно бы не поэму они слушали, а искреннее признание одного из своих братьев по несчастью. И когда с неослабевающим напряжением, как перед самой взыскательной аудиторией, я прочитал последний абзац этой поэмы:

У каждого своя есть повесть,

Всяк хвалит меткий свой кистень.

Шум, крик. В их сердце дремлет совесть.

Она проснется в черный день! —

мои слушатели, как зачарованные, долгое время сидели неподвижно и молчали. Наконец старший из рабочих подошел ко мне и со словами: «Спасибо, друг! Вот ты, выходит, какой!» – крепко пожал мне руку. И другие тесно обступили, услышал я много добрых слов. Просили меня что-нибудь еще почитать... Снова

вспыхнул костер, я запел песню, ее дружно подхватили:

Вот вспыхнуло утро, румянятся воды,

Над озером быстрая чайка летит...

Стоит ли говорить, что с этого дня отношение ко мне резко изменилось... А главное: все с нетерпением ждали вечерней стоянки, мы были уже как одна дружная семья, и я с воодушевлением, при общем одобрении, читал стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, пересказывал удивительные истории из повестей Гоголя. Пели мы и старинные народные песни. И сколько раз после убеждался я в великой облагораживающей силе литературы: даже самые, казалось бы, черствые, загрубевшие сердца сдаются перед истинной поэзией!

– Ну, студент, – сказали мне при прощании мои товарищи по сплаву, – уважил ты все наше общество. Учись дальше, Федор, и людей хорошему учи!..

Расстались мы с сожалением и надеждой, что в будущих странствиях по Сибири когда-нибудь еще невзначай свидимся...

Отчий дом в Киренске после иркутской жизни показался мне маленьким, и я впервые подумал: к родителям старость подкрадывается, успеть бы сделать что-нибудь для них, не знавших никогда отдыха. И было так уютно, так славно сидеть за знакомым с детства обеденным столом, слушая неторопливые рассказы о киренских новостях...

И на следующий год, досрочно сдав экзамены, я так же, сплавным рабочим, добирался до родимого городка. А поскольку за спиной у меня было уже два университетских курса, киренский хирург Василий Дмитриевич Светлов охотно взял меня на лето дежурным фельдшером.

Ничего я еще толком не знал и не умел. Опытный фельдшер приободрил меня, дал некоторые советы. Да и сам я жадно присматривался, как он обращается с больными...

Однажды глубокой ночью во время моего дежурства привезли такого больного, что я не знал, чем помочь ему, а вызвать хирурга стеснялся: знал, что он поздно

ушел из больницы, день у него был тяжелый. Родственники настаивали, чтобы я непременно пригласил Светлова, говорили, что больному час от часу хуже. Я это тоже видел и в конце концов, растерянный в своей беспомощности, сказал им: позвать доктора не могу, а если они хотят, пусть сами идут за ним...

Когда Василий Дмитриевич осмотрел пациента и сделал все, что требовалось, он, несмотря на поздний час, на то, что до крайности устал, посчитал нужным тут же побеседовать со мной. Он говорил, что мы – врачи, и этим уже все сказано. Я должен был не родственников посылать, а сам немедленно вызвать его, ибо промедление в помощи больному грозит непоправимым несчастьем... А что на свете невосполнимее человеческой жизни? Мне было стыдно, щеки мои пылали, и мудрые слова старого доктора памяты поныне...

Уверенность в себе появилась только после третьего года обучения, когда нас познакомили с клиникой некоторых заболеваний, прочитали нам курсы общей хирургии и терапии. И хотя слабой была эта уверенность, но крепло чувство: я – медик. Летом уже мог поступить на пассажирский пароход судовым врачом: снимал пробу кушаний на камбузе, следил за санитарным состоянием помещений, оказывал помощь при травмах, делал медицинский осмотр принимаемых на работу. И нравилось, когда ко мне обращались называя доктором.

На несколько дней заглянул я в Киренск и, возвращаясь обратно в Иркутск, пообещал родным, что снова увидимся скоро, на будущее лето обязательно приеду работать в киренскую больницу уже опытным фельдшером, почти врачом. Однако обстоятельства сложились так, что в Киренск я вернулся только через семь лет.

В основе своей обучение будущей профессии в университете тех лет строилось так же, как это делается сейчас в нынешних медицинских вузах. Разумеется, мы получали для себя меньше специальной информации, чем может взять ее у преподавателей современный студент, – медицина-то за эти годы шагнула далеко вперед! Разница была в одном: мы учились в двадцатые годы, первые годы жизни Советского государства, когда шла борьба за новые отношения, за новую социалистическую культуру. Яростный отпор получали у нас любые попытки пригладить или незаметно протащить в студенческой среде буржуазные тенденции. Наверно, в чем-то мы бывали излишне категоричны, однако чаще всего такой категоричности в решении вопросов требовало само



время.

Некоторую растерянность почувствовали мы, когда крикуны из «сверхактивистов» начинали издеваться над тем, что всегда было дорого и свято истинно русскому человеку: над Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Называли их дворянами и буржуазией и под треск «пролетарских» лозунгов требовали вычеркнуть их из учебников русской литературы. Много позднее мы узнали, что меньшевики и троцкисты уже тогда взяли курс на выкорчевывание самобытной культуры русского народа. Между прочим, осознание истинных целей троцкистов приходило к нам по мере того, как они наглели, все громче заявляли о себе – все жарче в университете кипели споры, а в спорах рождалась и наша политическая бдительность. Прикрываясь звонкой левой фразой, последователи Троцкого требовали пересмотра всего и вся, ставили под сомнение правильность ленинской позиции. Их нападкам, неприкрытой травле подвергались те, кто не поддавался «перевоспитанию», не признавал путаных тезисов Троцкого. И поскольку я был в числе непримиримых, то вскоре испытал на себе холодную расчетливость ударов троцкистской группки, занявшей руководящие посты в нашей университетской комсомольской организации.

Однажды после бурного диспута, на котором четко выявились политические позиции каждого из участников, меня вызвали на заседание комитета комсомола. С удивлением узнал я, что будет разбираться мое персональное дело, а больше всего удивился тому, что вести заседание поручено одному из моих частых противников по дискуссиям. Это был крикливый рыжий парень по фамилии Гросс. В его выступлениях мелкобуржуазные взгляды ловко маскировались высокими и дорогими каждому из нас понятиями: «революция», «диктатура», «интернационал», «социализм», – произносимыми к месту и не к месту через два слова на третье.

– Всех заботит грядущая мировая революция, – сказал Гросс, – а Углова волнует личное благополучие. Его летние поездки на Лену за длинным рублем я квалифицирую как шкурничество.

– Тебе штиблеты и модные штаны папа, наверное, купил, – ответил я. – А мне только тяжелый физический труд на речном сплаве дает возможность учиться зимой. Кроме того, там, среди рабочих, я никогда не забываю, что я – комсомолец.

– Кто за то, чтобы исключить Углова из комсомола? – словно не слыша меня, сказал Гросс. – Мотивировка: за игнорирование святых требований мирового революционного движения.

Сейчас, читая про это, кто-нибудь, вероятно, улыбнется: за такое обвинение и сразу исключить? Мне же тогда было совсем не до смеха: можно было остаться за дверями университета, и понадобилось бы много времени, чтобы доказать свою правоту... Гросс со своими единомышленниками и рассчитывал на подобное. Лишь вмешательство партийного секретаря Ивана Васильевича Соснина помешало ретивым «активистам» расправиться со мною и другими комсомольцами. К слову сказать, впоследствии эти крикуны были решительно осуждены коммунистами и комсомольцами университета и изгнаны из вуза.

А на четвертом курсе произошло памятное до сих пор, приятное событие – поездка группы отличников учебы в Ленинград. Нас было тридцать человек, и целый месяц провели мы в путешествии: две недели ушло на дорогу, другие две были отданы знаменитому городу на Неве. Он восхитил нас своей красотой, строгостью, и уже тогда, еще не зная, что долгие годы буду жить здесь, я навсегда был покорен широкими проспектами, каменными набережными, удивительными мостами. Тут во всем ощущалась русская история! Сенатская площадь, Петропавловская крепость, Смольный, Зимний... Был январь, город как бы плавал в синей дымке, нежданная оттепель убрала с улиц весь снег – лужи, лужи! Мы прыгали через них в разбухших от сырости сибирских валенках, лишь развевались полы наших солдатских шинелей и овчинных полушубков, и было такое чувство, будто мы внезапно встретились с весной. Это весеннее настроение мы увозили с собой в заснеженный Иркутск. Уже тогда, еще бессознательно, я попытался породнить их в самом себе – мою Сибирь и Ленинград.

В поезде нам было не скучно: песни, шутки, забавные рассказы, споры, разраставшаяся день ото дня «Дорожная поэма» моего сокурсника и тезки Феди Талызина, в которой смешно изображался каждый из нас. Слушали Федю, хватаясь за животы, подсказывали ему удачные рифмы... В своей молодости, в светлых надеждах на будущее были мы пьяны без вина. Когда сейчас вижу, как порой студенты, хорошие, умные ребята, собравшись вместе, почему-то заводят разговор о покупке спиртного, словно бы без этого немыслим отдых, мне становится грустно. Тяга к бутылке, желание непременно иметь ее в походном рюкзаке прежде всего замечается у молодых людей, предрасположенных к преждевременному постарению, а также с неустойчивой нервной системой,

приученной к постоянному взбадриванию. А это уже не врожденное, наследственное, это от безволия – да простится мне такое слово – от распушенности.

И вот мы в Иркутске. Днями позже я как ответственный за поездку делал о ней отчет на заседании университетского профкома. Во время выступления вдруг почувствовал, что смещаются лица, предметы, стены, сам я будто бы проваливаюсь куда-то... Еле-еле доплелся домой, рухнул в постель и... очнулся только через двадцать четыре дня. Сыпной тиф!

После болезни ходил как призрак: слабый, истощенный, ветер с ног валил, и не успел прийти в себя – новая напасть! Стали выявляться признаки пиемии, то есть заражения крови, в различных частях тела возникли гнойники, по нескольку дней кряду держалась высокая температура. Вскроют гнойник – температура выравнивается, но спустя какое-то время обнаруживается новый.

Опять операция, и после нее временное облегчение. При очередном высоком подъеме температуры, сопровождавшемся тягостными головными болями, профессор Николаева заподозрила воспаление среднего уха. Потребовался перевод в другую клинику, но никакого транспорта не было, и товарищи по факультету несли меня на носилках с одного конца города на другой...

Измощенный вконец, я приговаривался к страшному испытанию: нужно было долбить долотом мостовидный отросток моего черепа, искать там гной. По сей день не забыл чудовищную боль во время той операции. Когда хирург ударял по долоту, мне казалось, что он с размаху бьет молотком прямо по голове. Терпел на пределе, стиснув зубы и, продержавшись несколько минут, просил: «Дайте отдохнуть!...» А потом – снова удар, удар, удар... Операция была сделана вовремя. Запоздай она, мог бы случиться прорыв гноя в мозг. Но увы! – для меня тяжкие испытания на этом не кончились. Я должен был перенести еще две сложные операции и бесчисленное количество перевязок. И здесь мне хочется остановиться на важном вопросе хирургической практики, на необходимости щадящего отношения к больному.

Наверное, потому, что мне самому пришлось испытать сильнейшие боли, сам мучился, находясь на операционном столе, я всегда сочувствовал больным, переживал за них, всю свою хирургическую работу старался проводить так, чтобы до минимума свести её травматичность, болезненность. Совсем безболезненных операций почти не бывает, однако сделать их терпимыми, легче

переносимыми – это в возможностях врача, это должно быть его обязанностью, долгом.

Я, например, делаю прокол грудной клетки иглой в пятнадцать – двадцать сантиметров ребенку пяти-шести лет, ослабленному затянувшимся недугом, ввожу ему в абсцесс легкого раствор антибиотика, и ребенок в этот момент сидит спокойно, разговаривает со мной, даже улыбается. На следующий день он не боится идти в перевязочную, без слез и страха садится на стол для очередной пункции... Рассказываю об этом, естественно, не хвастовства ради, а чтобы убедить: даже такую сравнительно травматичную манипуляцию, как прокол грудной клетки, можно проводить безболезненно. Было б лишь сострадание в тебе и умение, доведенное до совершенства.

А ведь часто бывает, что боязнь боли, однажды испытанной человеком при лечении, останавливает его в другой раз своевременно обратиться к врачу. «Как вы запустили свою болезнь, – нередко приходилось говорить мне, – почему не пришли раньше?» – и слышал в ответ: «Врач тогда сделал мне так больно, что я решил: лучше умру, чем снова сюда, в больницу...»

Больной всегда чувствует, понимает: вот без этой боли невозможно было обойтись, а это – от плохих, неумелых или недобрых рук врача... «Теперь терпите – будет больно!» – говорит врач больному, тем самым расписываясь в своем неумении работать. Ведь сейчас в нашем распоряжении богатейший комплекс различных обезболивающих средств.

«Подумаешь, потерпеть не можете – нежности какие!» – заявляет другой. Этот даже не стесняется своего неумения, он нападает на больного, ничуть не озабоченный своей слабой профессиональной подготовкой.

«Повышенная чувствительность», «истеричность», – так иногда врачи определяют состояние своих пациентов, которые не могут терпеть боли. Спрашивается: а почему они должны ее терпеть? Только потому, что врач не захотел потратить несколько минут на обезболивание? И когда мы говорим: «добрые, нежные руки» или, наоборот, «грубые руки», – мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках – руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача – это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце.

Ко мне как-то пришла больная со слезами на глазах и сказала, что нет сил терпеть грубость лечащего врача. Проводя ей бронхографию, он кричал на нее, ругался, не выбирая выражений, заставлял как можно больше высунуть язык, а у нее это никак не получалось, и он схватил ее за язык своими жесткими сильными пальцами так, что поранил корень языка о зубы.

Я посмотрел – на нижней поверхности языка у женщины действительно зияла большая рана. Отпустив больную, вызвал врача и заявил ему, что работать с ним не смогу, пусть подает заявление об уходе... И всегда, когда становился свидетелем жестокого или равнодушного отношения к больным со стороны своих учеников или подчиненных, я был беспощаден к ним. И раздумывая над тем, почему же среди врачей (в частности, хирургов) встречаются люди с грубыми руками и холодным сердцем, я выделил три причины:

1. Врач может быть беззлобным по натуре, даже добрым в каких-то житейских ситуациях, но у него самого отменное здоровье, он никогда ничем серьезно не болел и попросту не знает, что такое боль. Но это не значит, что врачу обязательно нужно пострадать самому, чтобы понимать боль других. Тысячи гуманных врачей никогда не испытывали на себе печальной участи своих пациентов, однако бережно, с пониманием обращаются с больными.

2. Врач может быть хирургом с такими неподготовленными для профессии руками, про которые в народе говорят: «Руки как крюки!» Не умея делать все хорошо и легко, он мало заботится о состоянии больного во время операции. Хоть как-нибудь получилось бы – о безболезненности и думать не приходится! Такие врачи напрасно пошли в хирургию, им следует как можно скорее менять специальность.

3. Врачом оказался просто черствый и грубый по натуре человек, которому чуждо любое страдание, кроме собственного. Такой патологический тип попадает и во врачебную среду, а ему в ней не место!

Впрочем, на страницах книги еще будут затронуты подобные вопросы с примерами из практики, а пока вернемся к событиям студенческих лет...

Операция на черепе, как я уже говорил, не дала никаких осложнений, не сказалась на слухе, я быстро поправлялся.

И вдруг снова поднялась температура! Сначала думали, что это от какого-нибудь непредвиденного осложнения в ране: раскрывали ее, ковырялись в ней, причиняя мне сильную боль. Однако ничего подозрительного на месте операции не находили. А повышенная температура стойко держалась. Вызвали инфекциониста, и он признал: брюшной тиф!

Везти меня опять в тифозные бараки – слабого, не оправившегося от нескольких операций, нуждающегося в перевязках, значило обречь на верную гибель. И тогда студенты на носилках по требованию Веры перенесли меня к ней в комнату, которую она только что получила для себя и ребенка.

С Верой Михайловной, а тогда, конечно, Верочкой, мы учились на одном курсе, в одной группе, и я в первый же свой университетский год потянулся к этой развитой, начитанной, умной девушке. Была она из интеллигентной семьи: отец – нотариус, мать – учительница, умела быть внимательной к людям, отзывчивой, прилежно относилась к любому делу, особенно к студенческим занятиям. С ней было интересно говорить о прочитанных книгах, о жизни – отличала ее удивительная способность находить красивое, прекрасное в будничном и, казалось бы, примелькавшемся. К третьему курсу мы уже привыкли друг к другу и вскоре поженились.

Больным я пролежал около полугода, только к лету стал понемногу ходить. Из-за моей болезни мы безнадежно отстали в учебе, предстояло остаться на второй год на четвертом курсе. Мое здоровье было сильно подорвано. Последствия тифа выразились в виде глубоких изменений мышцы сердца, в отсутствии свободной соляной кислоты в желудке. Непереносимыми стали физические перенагрузки, нужно было соблюдать строгую диету. А у нас – две скромные студенческие стипендии и маленький ребенок в семье, да еще при продовольственных затруднениях той поры!

Врачи, которые лечили меня, удивлялись: как смог перенести я такие тяжелые болезни и множество всевозможных осложнений после них. «Железный организм», – говорили они. И это было правдой. Я действительно рос крепким, здоровым, привычным к любому труду, с детства любил снарядную гимнастику: у нас дома всегда был турник, висели кольца, стояли во дворе пудовые гири. Мы с братьями рано начинали и чуть ли не позже всех заканчивали купальный сезон в нашей холодной реке, зимой по утрам выбегали из дома на улицу обтираться снегом, увлекались французской борьбой. Благотворно влиял на здоровье

правильный режим питания: мама научила нас вставать из-за обеденного стола немножечко голодными. Придерживаясь этого правила всю жизнь, я с юности и до нынешних лет сохраняю нормальный вес и нахожусь, как говорится, в спортивной форме.

Единственно, что могло отрицательно сказываться на организме, – это отсутствие передышек в работе. В школьные и студенческие каникулы, в первые десять лет после окончания вуза я обязательно в отпускное время ради заработка устраивался на какую-нибудь временную работу: требовались деньги на срочные, безотлагательные покупки, росли семейные расходы. Только позднее я понял, что труд без отдыха губителен для здоровья, один раз в неделю и три-четыре недели в году интенсивного отдыха – это необходимость, пренебрегать которой рискованно.

– Что будем делать? – спрашивала меня Вера. – Ты как тень, слабый, а впереди суровая зима. Может, переведемся в Саратовский университет: климат на Волге мягче, и опять же, мои родственники там... Как, Федя?

Саратов нам понравился: просторный зеленый город, манящая к себе красавица Волга и очень современные университетские клиники, которые в Иркутске мы не могли даже представить себе.

Саратовский университет в то время считался одним из крупнейших. Авторитет его медицинского факультета поддерживался известными на всю страну именами, среди которых были Спасокукоцкий, Миротворцев, Разумовский, Какушкин, Николаев. Правда, Спасокукоцкого мы с Верой уже не застали, а Разумовский по преклонности лет отошел от активной хирургической деятельности, но в клинику ходил аккуратно как консультант. И прекрасными были лекции по хирургии профессора Миротворцева! Любили мы практические занятия в его клинике, всегда хорошо организованные, поучительные, неожиданные по своей новизне и смелости, – велись они блестящими хирургами: Самсоновым, Захаровым, Шиловцевым, Угловым.

Со своим однофамильцем П. Т. Угловым мне пришлось познакомиться... на операционном столе. Во время его дежурства меня привезли в клинику с абсцессом – последствием брюшного тифа. Вскрывая его под местным наркозом, он спросил: «Как ваша фамилия?» – «Углов», – ответил я. «Шутите», – усмехнулся

он. «Да нет, – говорю, – на самом деле Углов. Ваш студент к тому ж, перевелся из Иркутска...» И тут же, во время операции, стали выяснять: не родственники ли? Оказалось, нет.

Запомнились занятия под руководством Н. В. Захарова, Отличный педагог, он поражал нас своей глубокой эрудицией, обширностью разносторонних познаний, а проводимые им операции с точки зрения врачебного искусства были образцовыми. Много хороших отцовских качеств переняла его дочь, тоже ставшая впоследствии видным хирургом, получившая профессорское звание, Г. Н. Захарова.

Клиника была передовой во всех отношениях, и главное – в ее стенах работал дружный коллектив творческих, ищущих новое врачей. Здесь, например, они одними из первых стали применять переливание крови.

Однажды на лекции профессор, демонстрируя нам тяжелую обескровленную больную, объяснил, что при этом случае требуется операция, но при столь низком гемоглобине проводить ее рискованно: нужно перелить кровь. После его вопроса, кто из студентов согласится стать донором, я вышел вперед и предложил себя. Проверили мою кровь на группу и на совместимость – как раз то что надо...

В клинике это была одна из первых попыток перелить кровь, и брали ее у меня не иглой, а с помощью канюли, для чего вену пересекали и затем перевязывали. Так я лишился правой локтевой вены, навсегда остался у меня на руке след – воспоминание о больной, жизнь которой спасла моя кровь. И свою теперь единственную вену на левой руке я очень берегу, чтобы не оказаться без вены в случае экстренной необходимости сделать какое-то вливание мне самому.

Тогда же проходили у нас занятия по психиатрии. Преподаватель читал лекцию по гипнозу, сопровождая ее показом больных. Люди, которых он нам демонстрировал, после первых же его слов впадали в глубокий гипнотический сон. «Это явление, – пояснял преподаватель, – называется «санамбулизм моментанус тоталис». Кто возьмется повторить мой эксперимент?» У большинства студентов ничего не получилось, мне же, точно воспроизводящему слова и движения преподавателя, удавалось усыплять больных так же быстро, как делал он сам. «Это оттого, наверно, что у нашего Феди темные глаза!» – крикнул кто-то из товарищей. «Посмотрите на меня, – преподаватель засмеялся, – у меня-то глаза голубые! Воля гипнотизера, переданная с



соответствующей интонацией и с нужной решительностью, – вот что здесь основное...»

Позже я не раз пробовал гипнотизировать, и каждый раз больные у меня засыпали хорошо. Эта способность к гипнозу весьма пригодилась в будущей врачебной практике.

Учился я отлично, преподаватели ставили меня в пример другим, прочили мне твердое место в клинике, о котором мечтали многие выпускники, однако я всей душой стремился к работе где-нибудь на окраине, помня о том, что старший брат и сестра поступили таким же образом. Поеду туда, думал я, откуда до городских клиник далеко, где больные страдают без квалифицированной медицинской помощи, там я нужнее. Вера соглашалась со мной: только так! И в своем молодом порыве ехать в какое-нибудь богом забытое место и в глуши быть полезным страждущим сам для себя находил поддержку, раздумывая над судьбой отца.

Он умер в год нашего переезда в Саратов, безвременно, пятидесяти восьми лет, и мне представлялось, как ждал он меня, мечтая, что я вот-вот получу диплом врача, приеду, вылечу его... Суровую школу жизни прошел он, и никакие лишения не могли убить его врожденной жизнерадостности, не заставили его пойти против совести. Нас, своих детей, он учил быть справедливыми и непримиримыми в борьбе со злом.

Оканчивая медицинский факультет, я переживал, что безнадежно опоздал и уже ничем не помогу отцу.

Он был из крепкой породы рабочих людей, и характер у него был истинно русский. В основе такого характера – любовь к народу, которая одних заставляет идти в ссылку, других, к примеру, всю жизнь бессменно дежурить в операционной. Да мало ли на свете дел, занимаясь которыми можешь стать по-настоящему необходимым людям, в самоотверженном служении народу откроешь для себя душевную радость, найдешь смысл всей своей жизни!

Я счастлив, что в год столетия со дня рождения российского мастерового Григория Гавриловича Углова родился его внук – Григорий Углов, в первых самостоятельных проявлениях характера которого уже замечается сходство с дедом. Кем он станет, гадать преждевременно, однако я очень хотел бы, чтобы

были у него, как когда-то у деда, золотые руки. Жизнь продолжается в поколениях, и они несут в себе и развивают лучшее из того, что оставляют им отцы и деды.

И тогда, в завершающий год учения в университете, я думал, что где-то сейчас находятся тяжелые больные – ждут, ждут. К отцу я опоздал, здесь уже ничего не поделаешь, но скольким людям я смогу помочь! Ревностно без устали готовил себя для самостоятельной работы, аккуратно посещал каждую лекцию, какой бы скучной и необязательной ни казалась она, и не упускал ни одного случая первым выйти к столу в тот момент, когда вызывали студента для производства той или иной медицинской манипуляции.

Именно в те дни я хорошо освоил внутривенные вливания больным, а уже работая врачом на участке, овладел этой процедурой в совершенстве. Позднее, будучи в клинике Н. Н. Петрова, я удивлял его безошибочным попаданием иглы в вену. Умение точно и незамедлительно справляться с этой манипуляцией – первостепенная необходимость для врача. Ведь часто от того, попали ли в вену и как быстро, может зависеть жизнь тяжелого больного. И важно, конечно, убрать неприятные для пациента болевые ощущения. Поэтому в случаях, когда требуется толстая игла – например, для взятия значительного количества крови или введения большого объема лекарства, – пункцию вены следует проводить под местной анестезией. Совсем не трудно при помощи раствора новокаина получить небольшой кожный желвачок, через который игла пройдет безболезненно. Владея этой методикой, я, например, при необходимости делаю венопункцию и внутривенные вливания себе, предварительно наложив жгут и сделав обезболивание.

Сдав государственные экзамены, получив звание врача-лечебника, я с невольным трепетом взял в руки квадратик шероховатой бумаги с указанием места моей будущей работы. Там значилось: «К 1 июля 1929 года прибыть в село Кисловку Николаевского района Камышинского округа Нижневолжского края в качестве заведующего врачебным участком».

## Глава V

Село Кисловка оказалось крупным, жителей в нем было больше пяти тысяч, в основном выходцы с Украины. Говорили здесь на удивительном языке: малороссийские слова перемежались с мягко произносимыми русскими. Красили село сады, солнечно стояли в огородах желтые подсолнухи, и по вечерам весело звучали гармони парней, девушки пели задушевные украинские песни...

В день приезда в сельсовете меня встретил двадцатипятилетний председатель Иван Степанович Марченко, один из десяти активистов на все огромное село, пламенный энтузиаст, агитатор и организатор из тех, кто проводил декреты Советов в жизнь в невероятно трудных условиях. Недавно он прислал мне письмо. Вышел на пенсию. Живёт со своей Анной Власьевной, окруженный уважением людей. А Кисловка, пишет, сильно изменилась, теперь это совхоз сплошной мелиорации.

Мне указали дом, где была отведена для меня комната. Хозяева встретили радушно, тут же усадили за стол. А утром, когда я шел на участок, мужчины приветствовали меня поклонами, молча разглядывали, каков из себя присланный доктор. Из-за плетней наблюдали женщины. Я старался идти степенно, как и подобало мне по чину, успокаивая себя тем, что скоро многих буду звать по имени-отчеству, что везде хороших людей больше, чем плохих: приживусь, стану своим для кисловцев.

На участке, несмотря на ранний час, меня уже ждали. Крепко пожал руку фельдшер Павел Петрович, много лет до этого исполнявший обязанности заведующего. Он представил мне «персонал»: акушерку Веру Георгиевну и санитарку Нюру. Последняя тут же поспешила объяснить мне, что, по ее мнению, все болезни бывают от злости.

– Давайте тогда в работе не будем злиться друг на дружку, – шутливо сказал я, – чтобы самим не заболеть!

Мы посмеялись, и я понял: тут ко мне будут относиться доброжелательно. А это уже много значит!

Больница была на десять коек, имелось и родильное отделение, в нем ежедневно лежали одна-две роженицы. Поликлиника, в которой предстояло вести амбулаторный прием, состояла из четырех комнат: кабинета врача, зала для ожиданий, аптеки и процедурной. И мы сразу же распределили обязанности.

Вера Георгиевна должна была регистрировать больных, а затем в процедурном кабинете проводить нуждающимся назначения врача. Ей в помощницы выделялась Нюра, которая за три года хорошо освоилась с перевязками, компрессами, ставила банки, следила за чистотой и порядком. А Павел Петрович должен был готовить в аптеке и отпускать лекарства по моим рецептам. В нужные, затруднительные моменты я всегда мог пригласить его помочь мне...

В первый же день, услышав о приезде «ученого» врача, на прием пришло столько больных, сколько я никогда больше на участке не видел. Небольшими группками ожидали они своей очереди на улице, на ветерке и каждого выходящего от меня встречали вопросом: «Ну как он – помог?»

Болезни были самые разнообразные, и я чувствовал себя в положении утопающего, брошенного в глубокий омут. Приходилось барахтаться! Тщательно расспросив пациента, я просил его выйти и подождать за дверью, сам же начинал лихорадочно листать привезенные с собой учебники и справочники, проверяя по ним точность своего диагноза, отыскивая, как правильно пишется обнаруженная болезнь по-латыни, какие и в каких дозах нужно назначить лекарства...

Впрочем, неуверенность прошла быстро. Прилежание и интерес к делу помогли обрести веру в свои силы.

Когда одолевали сомнения, так ли я определил болезнь, звал Павла Петровича. Моя откровенность, уважение к его опыту нравились старому фельдшеру, много дельного подсказывал он, и впоследствии я никогда не пренебрегал его советами, мы научились с полуслова понимать один другого. Когда рядом образованный опытный фельдшер – это сильно облегчает работу врача, особенно начинающего. Фельдшер может научить тому, что прошло мимо тебя в студенческие годы. В дальнейшей хирургической деятельности, например, меня часто выручали практические приемы, усвоенные от Павла Петровича или Алеши Шелаковского (Алексея Александровича!), тоже бывшего фельдшера. Часто лишь благодаря этим приемам, знанию фельдшерских секретов я не выбывал на несколько дней из строя, когда, казалось бы, иначе и быть не могло, они давали мне возможность не прекращать занятий, делать операции.

Однажды, забивая гвоздь в стену, я промахнулся и со всего маху ударил молотком по тыльной стороне кисти, от острой боли искры из глаз посыпались! Находившийся рядом Алеша Шелаковский ощупал руку, сказал, что перелома

кости, слава богу, нет, только сильный ушиб. Я с грустью подумал, что завтра руку разнесет, и недели две работать не смогу... «Не дадим тебе от дела отлынивать», – засмеялся Алеша, принес банку с йодной настойкой и густо смазал ею всю мою руку – от кончиков пальцев и выше локтя... Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил: ни боли, ни отека нет! И этот фельдшерский метод надежно помогал позже, я на себе убедился в его эффективности.

Когда у меня появляется какой-нибудь инфильтрат, гнойничок или фурункул, я, вспоминая добрым словом Павла Петровича, следуя его давнему рецепту: прикладываю и больному месту ватку, смоченную чистым спиртом, и держу ее так минут сорок – шестьдесят, вечером и на следующий день повторяю эту процедуру. Процесс, как правило, приостанавливается, быстро купируется. Нельзя только на спиртовую вату накладывать вощанку или клеенку: это уже будет спиртовой компресс – возможен ожог.

Столь же успешно пресекаю в самом начале развитие панариция или флегмоны на руках, опять же используя совет из копилки фельдшерского опыта. Опускаю больную руку в такую горячую воду, как только можно терпеть, и по мере остывания воды добавляю в нее кипяток – в течение часа. После на больное место нужно наложить спиртовую высыхающую повязку на час-полтора, время от времени продолжая смачивать вату спиртом.

Конечно, любой практический совет необходимо всегда пропускать через призму собственных медицинских знаний. Как и врачи неодинаковы в своей профессиональной подготовленности, так и среди среднего медицинского персонала встречаются чудачки, чьи наставления нередко нельзя слушать без улыбки, и благо если такие советы безвредны... Думая о достойном во всех отношениях Павле Петровиче, не могу не вспомнить другого фельдшера той поры – из соседнего села Солодушино, что находилось от Кисловки в шести километрах. Сюда на должность заведующей амбулаторным участком получила назначение Вера Михайловна. В помощниках у нее состоял бывший ротный фельдшер, пожилой человек с унтер-офицерскими замашками и зычным командным голосом. Когда больные собирались, он приказывал тем, у кого болит голова, отойти вправо, а остальным – влево. Первым давал аспирин, другим, всем без исключения, – касторку.

Поэтому в дни, когда Вера Михайловна почему-либо не могла вести прием больных, я вечером приходил в Солодушино и подменял ее. Легко шагалось берегом Волги, далеко к горизонту убегали желто-зеленые поля, предвечерняя

сиреневая дымка ложилась на них, от речной воды веяло прохладой, было ощущение покоя, прикосновения к вечной земной красоте, обступавшей меня... И все же какое-то неясное томление закрадывалось в сердце, тревожило, и на смену тому, что было здесь, приходили видения отчего края: более могучая и своенравная, чем Волга, наша Лена, ее дикие, подминаемые величественной тайгой берега, а видимые глазом далекие заснеженные горы, неоглядный простор и родной сибирский говор на улицах и улочках нашего Киренска... Крепко жили во мне видения родной стороны.

В тот первый в моей практике амбулаторный прием в кабинете у меня побывало более шестидесяти человек – мужчины, женщины, дети, – и у каждого своя боль, свои страхи, свои надежды... Я был измучен до крайности, хотелось немедленно, тут же помочь каждому, всем, но как – этого доктор Углов еще толком не представлял, путался, устанавливая диагноз, боялся ошибиться – столько похожих симптомов у совершенно разных болезней! Рябило в глазах от судорожно переворачиваемых страниц справочников... Как на грех, после обеда Павла Петровича увезли в ближайшую деревеньку к лежащему больному, неизвестно было, когда он вернется...

– Доктор, мальчишка кровью исходит!

– Давайте его сюда.

Какая глубокая, зияющая рана! Занимает больше половины лба. Оказывается, верблюжонок копытом ударил. Надо срочно швы накладывать. Сумею ли? И ведь чего только не пробовал на занятиях в университетской клинике, чему не учился, а вот такое не приходилось делать, инструмент для наложения скобок никогда в руках не держал... Сам упустил или упустили нам показать? И что сейчас гадать, нужно делать.

– Нюра, готовьте инструмент!

– Сейчас, Федор Григорьевич. А ты, мальчик, не реви. Доктор поможет, выправит, крепше прежнего лоб будет!...

Операционного стола мы не имели: мальчика уложили на кушетку, и я попросил родителей держать его за ручки и ножки. Собственные руки дрожали, никак не мог захватить края раны пинцетом... Возился долго, с большим трудом, но все

же справился – рана была обработана, кровотечение остановилось. Родители и родственники мальчика одобрительно переглядывались, а Нюра тайком, по-свойски, подмигнула мне: все хорошо, а ты боялся! Она догадывалась, как переживал я...

Не обошлось в этот день и без курьеза.

В кабинет вошла молодая украинка и, озираясь на дверь, шепотом сказала: «Доктор, у меня низ болит...» – «Что ж, – отвечаю храбро, – раздевайтесь, ложитесь на кушетку, посмотрим, где там у вас внизу болит...» Она страшно смутилась, покраснела и показала пальцем на свой нос: «У меня, доктор, болит нис...» Тут-то я понял: нос!

Но так – суматошно, в растерянности – прошел именно первый день, а в последующие я быстро освоился с работой: не было нужды поминутно заглядывать в книги – ведь все в голове, нужно лишь сосредоточиться, вспомнить, я же это знаю!.. Стал быстрее и лучше понимать больных, как бы путано и нескладно они ни рассказывали о своих болезнях. Здесь, в Кисловке, сам себе говорил спасибо за то, что был прилежным и активным на факультетских занятиях, посещал все лекции, тщательно готовился к экзаменам! Приобретенные за годы учения знания оказались поистине бесценными. Однажды ко мне на квартиру – в комнату, где я только что сел за обед, – вбежал в испуге местный крестьянин со словами: «Помогите, жена умирает!» На его лошади быстро помчались на нужную улицу. В избе на полу в глубоком беспамятстве лежала женщина лет тридцати. Внезапная потеря сознания, тяжелое и прерывистое дыхание у больной заставили меня подумать об эмболии легочной артерии, тем более что ее муж объяснил: «Была хорошая, а тут грохнулась и лежит...»

По моему указанию женщину положили на телегу и осторожно повезли в больницу. Обеспокоенный, я сел рядом с ней и стал прощупывать пульс. Что это?! Состояние больной кажется опасным, а пульс – редкий, спокойный, хорошего наполнения. Может, это всего-навсего истерический припадок? Стал расспрашивать мужа о начале приступа, о том, что предшествовало ему, и он неохотно признался, что часом раньше больная поругалась со свекровью, была меж ними яростная перепалка, «как две гуски щипались...» Еще сказал, что жена после таких встрясок, случалось, падала, но быстро вставала, не как сейчас...

Мое предположение об истерическом заболевании вроде бы подкрепилось, однако я опасался: не ошибиться бы! Но пульс у женщины, когда приехали в больницу, по-прежнему оставался спокойным и редким. Тогда я решился применить гипноз. Положил руку на ее лицо, пальцами прикрыл веки, стал произносить обычные для гипноза фразы: «Ваши веки припечатаны... вы засыпаете... так... сон ровный, без памяти, без сновидения... так... вы спите хорошо, но слышите меня и выполняете мои приказы... чувствуете себя хорошо... У вас ничего не болит... вы дышите ровно, спокойно... так, хорошо...» Больная продолжала дышать прерывисто и глубоко, но я не отступал: «Вот вы уже дышите совсем ровно... еще ровнее дышите, еще спокойнее... так... все хорошо!»

К моей радости, после повторных внушений дыхание женщины действительно выровнялось, и я, продолжая сеанс, уже не сомневался в его хорошем результате.

«Вы спите спокойно, дышите ровно, у вас ничего не болит... Правда, у вас ничего не болит?... Вот и хорошо, что у вас ничего не болит, вы поправились и чувствуете себя здоровой... Сейчас вы проснетесь совсем здоровой... Я сосчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз... два... три!» Больная открыла глаза, увидела меня, ничего не могла понять в страхе и удивлении: куда это попала?!

– Вы кто, дядька? Это чего еще такое?

Я успокоил ее, объяснил, вывел на крыльцо больницы, теперь уже к удивлению мужа и прибежавшей сюда расстроенной свекрови. Никак не ждали они, что все так легко и благополучно кончится. Свекровь бросилась целовать невестку, они сели на телегу и помчались к дому. Я смотрел им вслед и улыбался.

А спустя какое-то время муж этой женщины снова подогнал своего резвого коня к больничному зданию, вошел ко мне с петухом под мышкой, очень красивым, золотистой расцветки. Я наотрез отказался принять от него «гостинец», он упрашивал, и дело кончилось тем, что крестьянин выпустил петуха на больничном дворе, а сам уехал. И этот красавец с огромными шпорами и факельно светящимся гребнем долго жил при больнице, постепенно превратившись в мелкого попрошайку – кланчил у посетителей хлебные крошки и все, что у тех могло быть. Больничного петуха знало все село.



Кроме Кисловки, я обслуживал село Раздолье, в восьми километрах ниже по Волге. Ездил туда, проводил осмотры, приемы, выступал на собраниях с беседами на медицинские темы и по текущему моменту. Работал увлеченно, без усталости, и вдруг грянул гром! Произошло несчастье, стоившее мне ужасных переживаний.

В амбулаторию принесли ребенка в тяжелом состоянии. Диагноз не вызывал сомнений – крупозная пневмония. Выписав рецепт на лекарство, я послал мать с ребенком в процедурную, чтобы акушерка, Вера Георгиевна, поставила ему на грудь банки.

Как потом выяснилось, акушерка отлучилась по вызову роженицы, в процедурной оставалась за нее Нюра. Ставить банки она умела, делала это давно и, экономя скудные запасы спирта, использовала для этой процедуры... бензин. В тот день, занимаясь уже с другим больным, я вдруг услышал жуткие крики. Вбежал в перевязочную, увидел пламя на теле ребенка и на одежде Нюры. Схватив простыню со стола, быстро окутал ею малыша, погасил на нем пламя, помог Наре... Оказалось, она нечаянно пролила бензин на тельце ребенка и на свой халат. Ребенок и так был ослаблен болезнью, а тут ожоги второй степени на спине и бедре! Как ни старались вырвать его у смерти – не получилось. Я смотрел на него и ничего не видел и не слышал... Рыдала Нюра...

А вскоре по заявлению родителей меня вызвали в районный народный суд, который присудил врачу Углову шесть месяцев принудительных работ условно. «За что?» – спрашивал я себя. Было невероятно жаль погибшего мальчика, и в то же время я не мог взять на себя вину за его гибель. Решение суда казалось мне несправедливым. Неужели носить эту судимость, как темное пятно, всю жизнь? Почему? Несмотря на уговоры окружающих, что, мол, судебный приговор мягкий, пустяковый, а может быть хуже, я подал кассацию в окружной суд. Много дней и ночей прошли в мучительных раздумьях, пока ожидал повестку из Камышина.

На заседании окружного суда при полном зале праздных любопытных судьи, как мне казалось, задавали провокационные вопросы: не хотели толком разобраться – перебивали, не слушали объяснений, не вдавались в подробности... В моей уставшей от переживаний голове билась теперь одна лишь мысль: здесь меня не хотят понять, срок и тяжесть наказания будут увеличены, судимость станет моим вечным спутником, больные откажут мне в доверии, передо мной навсегда закроются двери в большую медицину... И когда объявили, что суд удаляется на

совещание, я, не имея сил спокойно ожидать решения, выскочил на улицу, долго бродил по городу, полный самых мрачных предположений. Шли и ехали на подводах навстречу люди, у колодца смеялись девушки, где-то весело играл струнный оркестр, – какое кому дело до меня!

Когда же я вернулся в здание суда, там уже никого не было. Побродив по комнатам, нашел хмурого пожилого человека, по-видимому, секретаря. Спросил его, какое решение было по делу Углова. Тот долго рылся в бумагах, затем недовольно сказал:

– Ходите тут, отвлекаете... Оправдали твоего Углова. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Я выскочил из душного помещения на улицу, под высокое ласковое солнце, и прохожие – чудилось мне, каждый из них! – смотрели теперь на кисловского врача приветливо. Домой летел как на крыльях. На смену многодневной апатии, угнетавшей меня, пришло хорошее настроение, желание работать, работать! Нужно расширить больницу, снабдить ее необходимым оборудованием, добиться увеличения персонала. Кроме журнала «Усовершенствование врачей» следует выпустить другие периодические специальные издания, чтобы, живя в Кисловке, не отставать от нового, от всего, что волнует современную медицину... Роились в голове, обгоняя друг дружку, светлые мысли! Как давит на человека беда, и как обновленно возгораются в нем творческие силы, стремление трудиться, когда все черное остается позади.

По-прежнему, конечно, было жаль погибшего мальчика, его измученное личико то и дело виделось мне, и внезапное душевное облегчение вновь уступало место скорби и трезвому укору совести: пусть для тебя это будет уроком на будущее, ты ответствен за все, что происходит в доверенной тебе больнице...

Нужно сказать, что этот трагический эпизод был встречен кисловцами с пониманием, не подорвал хороших отношений к нам: по-прежнему у меня было много пациентов, ежедневно я мотался по вызовам, с большой нагрузкой работал Павел Петрович. В эти же дни на участке был еще один случай смерти больного – и никто нас не упрекнул и не мог бы упрекнуть за него.

Умер секретарь сельского Совета. Он ездил по деревням, в дороге заболел, надеялся, что отлежится, недомогание пройдет само собой. К нам его привезли

с большим аппендикулярным инфильтратом. Во всех медицинских наставлениях утверждалось, что в таком состоянии больного ни оперировать, ни эвакуировать нельзя – может быть только терапевтическое лечение. Долгие часы мы с Павлом Петровичем проводили у его постели. В моменты просветления больной со слезами на глазах умолял нас спасти его. «Окончательную победу социализма в деревне хочу увидеть, – шептал он воспаленными губами. – В меня враги стреляли – не убили, а неужто так умру?..» Было тяжело слышать его еле слышимый голос. Мы применили все, что рекомендовалось в учебниках, но перебороть запущенную прогрессирующую болезнь не смогли... И родные покойного после похорон пришли ко мне с теплыми словами благодарности за те бессонные ночи, что мы с Павлом Петровичем провели у его изголовья, за наши врачебные старания.

– Что ж, батюшка, – сказала мне мать секретаря. – Ты с нашим горем сам исстрадался, лицом почернел. Значит, тому было быть, сильнее всех нас, значит, эта хворь оказалась. Что не оставил нашу семью в черный час – за это кланяемся...

Во время дальнейшей практики мне приходилось видеть различных людей, разное отношение с их стороны к нашему труду. Чаще всего человек понимает неоценимость усилий лечащего врача, направленных на сохранение здоровья, жизни, и сказанное им от всей души спасибо согревает уставшее докторское сердце... Однако я не раз сталкивался и с проявлениями самой черной неблагодарности, и она действовала удручающе: разве жестокостью отвечают на добро? Врач многие дни самоотверженно, бескорыстно находился у постели больного, переживал, старался помочь, облегчить боль, вылечить недуг, а ему после чуть ли не в лицо плевали! Бывало, повторяю, такое, причем от самых разных людей – от малокультурных и образованных, от рядовых и руководящих работников...

Не могу не вспомнить одну больную с митральным стенозом. Она приехала из Якутска в пятидесятые годы с парализованной правой половиной туловища (на почве перенесенной эмболии). Была у нее та стадия запущенности заболевания, которая относится к четвертой и даже пятой стадии: декомпенсация сердца, печень выступала из-под реберного края на семь-восемь сантиметров, синюшность, одышка, в легких, находящихся на грани отека, большие застойные явления... Ни в какой другой клинике ей не брались делать операцию. Но так как она приехала издалека и отправить ее назад – значило бы обречь на неизбежную гибель в дороге, мы, несмотря на отсутствие у больной

необходимого вызова и разрешения нашего главврача, приняли ее.

Несколько месяцев с помощью всех доступных нам средств выводили женщину из состояния декомпенсации, готовили к операции. И эта операция была невероятно трудной, с последующими осложнениями, которые потребовали напряжения сил всего персонала клиники. Достаточно сказать, что больная из-за парализованных дыхательных мышц умирала от дыхательной недостаточности и застойной пневмонии – и мы вынуждены были наложить отверстие в трахее, через специальное устройство попеременно дышали за больную в течение двух недель, день и ночь, вручную – аппарата для автоматической подачи воздуха у нас тогда не было! Не было в ту пору и специалистов-реаниматоров. Так что контроль за дыханием оперированной осуществляли те же врачи и медицинские сестры, которые при этом обязаны были выполнять свою основную работу в клинике. То был поистине героический, самоотверженный труд всего медицинского коллектива! Ночь дыши за больную, а днем никто тебя не может освободить от прямых служебных обязанностей: ведь сколько еще критических пациентов в палатах!

И какой наградой всем нам были те дни, когда стало ясно: женщина поправляется, мы отвели от человека неминуемую, казалось бы, смерть. Через полтора месяца явления декомпенсации у нее исчезли полностью, ей было разрешено вставать и ходить. Но не тут-то было! Женщина, привыкшая к состоянию неподвижности, упрямо отказывалась подняться с постели. На наши уговоры, а затем категорические требования, чтобы она двигалась, в ответ нам в лицо вдруг полетели такая брань, такие оскорбления, что, признаться, мы растерялись. А дальше – больше: что ни день – слезы на глазах у нянечек и медсестер, их жалобы на то, что больная из Якутска не выполняет предписаний, интригует, перессорила всех в палате, грубит. Было больно и странно наблюдать такое... Однако мы еще не знали, что ждет нас впереди! Ко всеобщему изумлению коллектива клиники, эта женщина при выписке сочинила жалобу в восемь адресов – в министерство, редакции центральных газет, в самые высокие правительственные и партийные учреждения. В ней мы именовались «шайкой бездельников», «неучами», «врагами человечества». Сколько комиссий приезжало для проверки так называемого «заявления на врачей простой жительницы сурового Севера», сколько нервов было попорчено, сколько дорогого времени ушло на писание объяснений! И недоумение во взглядах моих подчиненных: почему?! Месть за доброту!

Давно это было, а помнится, как помнится любая незаслуженная, оскорбляющая лучшие твои чувства обида. Но конечно же, намного сильнее память о другом – о проявлениях человеческого благородства. Именно об этом вспоминаешь, когда наваливается усталость и чьи-то необоснованные упреки догоняют тебя, как бы толкают в спину, требуют оправданий, когда оправдываться-то не в чем... Тогда и говоришь себе: а все же Россия стоит на порядочных, разумных людях, их великое множество, а тех, других, – единицы. На каждый плохой пример – десять хороших, и в них находишь утешение для себя и поддержку для своей дальнейшей работы.

Невозможно забыть, как при драматичных обстоятельствах увидел я всю глубину истинного русского характера одного из любимейших ленинградцами художников сцены – Игоря Олеговича Горбачева, ныне народного артиста СССР. К нам в клинику в состоянии крайней тяжести привезли его мать. Сложно было установить, что в данном случае: сочетание катастрофы в брюшной полости с присоединившейся пневмонией или только пневмония, симулирующая острый живот? Если это пневмония – операция противопоказана; если же первый вариант, несмотря на пневмонию, потребуется операция. Тщательная проверка всех данных и состояния больной убедила нас: тут худшее, чего опасались. А проведенная операция подтвердила: при тяжелой пневмонии острое воспаление поджелудочной железы с омертвением.

После операции в течение нескольких дней мы упорно продолжали бороться за уже обреченную жизнь... У нас осталось болезненное чувство вины перед сыном, который ни на час не уходил из клиники, с глубокой надеждой смотрел на нас, чувство вины, очень знакомое, думаю, большинству врачей: почему же мы оказались бессильными, все ли необходимое сделали для того, чтобы отвести несчастье?!

Игорь Олегович, горячо любивший мать, убитый безутешным горем, нашел в себе силы прийти ко мне, подавленному случившимся, поцеловал меня со словами:

– Спасибо за все, что делали для мамы. Вы так помогали ей, как, не знаю, сумел бы я помочь ей сам, будучи врачом... Я это почувствовал, это останется во мне на всю жизнь...

А когда однажды в новом спектакле ему пришлось играть роль хирурга, он не один час провел в операционной за моей спиной, стремясь постичь особенности

нашей работы.

Разумеется, затрагивая тему взаимоотношений врача с больным или его близкими, я предполагаю, что сам врач в своем поведении должен быть на высоте. Он ни при каких самых смягчающих обстоятельствах не имеет права на невнимание или резкость по отношению к больному или его родным. Ведь как бы родственники ни надоедали вопросами и «советами», как бы ни мешали они в самый ответственный час, следует помнить: они переживают за родного им человека. Вспомните свою боль, поставьте себя на их место!

Рассказывая о жизни и работе в Кисловке, и поныне живо, в подробностях помню деревню той бурной поры. Какие громкие и грозные голоса звучали тогда на ее улицах, какие страсти сталкивались, как мучительно зарождалась колхозная новь! Рушились вековые крестьянские представления, круто ломались прадедовские обычаи и традиции, и те, кем вчера помыкали, кого ни во что не ставили, твердо, властно заявляли свое право на землю, на свободный труд, в коллективном хозяйстве видели залог будущей справедливой, обеспеченной и культурной жизни. И конечно же, в Кисловке были свои Давыдовы и Нагульновы, происходили события, очень похожие на те, что талантливо описаны М. Шолоховым в «Поднятой целине», Л. Сейфуллиной в «Перегное», С. Залыгиным в повести «На Иртыше».

Даже у нас в больнице не было тихо. И я как врач оказывался втянутым в разговоры и споры, ко мне обращались за советом и чтобы я рассудил... На всю округу людей с высшим образованием было раз-два и обчелся. Пристально, с жестковатой требовательностью смотрели на нас и по-революционному настроенные массы, и богатеи: а вы с кем? У меня, выходца из трудовой рабочей семьи, колебаний не было: я отнес в сельскую ячейку заявление с просьбой принять меня в партию большевиков. В октябре 1929 года получил кандидатскую карточку и первое партийное задание: выявить излишки хлеба у кулаков.

Когда мы пришли к одному из справных хозяев, упорно отказывавшемуся продать государству зерно, спрятанное в тайник, он, увидев меня, махнул рукой:

– Раз сам доктор тут, забирайте хлебушек. Он мне сына вылечил, другого на ноги поставил... Знали кого послать, ему не откажешь. – И сам показал, где у него в сарае была зарыта пшеница...

Но это, естественно, случай из редких, или, как иначе любят говорить, не типичный. В классовых схватках никто не сдавал позиций добровольно – были поджоги и ночные выстрелы в активистов. Подметные письма с угрозами получал и я. Особенно обостренным было время выселения из деревни зажиточных хозяев, время, названное в нашей истории периодом ликвидации кулачества как класса. Кулаков отправляли в северные края, слёзы и проклятия встречали нас на пороге жилищ, мужчины нередко хватались за топор или вилы: «Не пущу!» Тяжелыми были разговоры.

– За что так? – угрюмо спрашивал тот самый хозяин, что из-за уважения ко мне днями раньше открыл тайник с зерном.

– Стоите на пути сплошной коллективизации.

– А мы в сторонке, сами по себе, мы тихо...

– Середины нет, вопрос поставлен таким образом: кто не с нами, тот против нас! В сторонке – это тоже против...

Однажды по заданию партийной организации я готовил одну такую семью к отъезду: указывал, какие вещи взять с собой в дорогу, заполнял необходимые бумаги. Собирались тут молча, покорившись участи.

Это была семья зажиточного крестьянина, пользовавшегося авторитетом в деревне, так как он сам и члены его семьи были всегда примером на любой работе. Может быть, поэтому за закрытыми воротами их двора собралась необычно большая толпа, в которой можно было видеть и бедно одетых крестьян. Толпа гудела, и я слышал бранные слова на свой счет. А когда вышел во двор, ворота под мощным нажимом растворились, и люди двинулись на меня.

Что было делать? Что мог я один против этой толпы, подогретой самогоном и злым шепотком: «Бить их, коммунистов!» Оружия у меня, конечно, не было, да и если было бы – не в нем сила.

Я медленно пошел навстречу толпе, засунув правую руку в карман. И видимо, поразившись моему решительному виду, люди остановились, а я все так же продолжал идти на них, как до этого они шли на меня. И толпа попятилась, отхлынула за забор! Я затворил ворота и вернулся в избу – сборы

заканчивались...

Нельзя не отметить, что эта сцена оставила у меня тяжелый след. Я знал, что это трудовая русская семья, знал, что все, имеющееся в хозяйстве, она создала сама. И все же ее выселяли из родных мест. Люди, не совершившие никакого преступления перед своим народом и односельчанами, должны уезжать неизвестно куда. И зачем? Такие мысли возникали в голове молодого кандидата партии, но я не находил на них ответа.

Тогда же секретарь партийной организации Колтунов Павел Васильевич поручил мне съездить в деревню Александровку, что была в двадцати километрах от Кисловки. Там проводилось собрание, нужно было выступить в поддержку первых колхозников, дать отпор кулацким наскокам.

Когда я вошел в школьный класс, где проводилось собрание, долго не мог разобраться, что к чему. Удушливо плавал сизый табачный дым, в котором неясными пятнами проступали возбужденные лица, и такой галдеж стоял – слов не разобрать. Оказывается, кулаки взяли верх, было у них много подставных крикунов, и малочисленные голоса местных партийцев тонули в реве и гаме. Шум смолкал, как только начинал говорить кто-нибудь из подкулачников. Если же поднимался коммунист или кто-то из сочувствующих, тут же раздавались свист и грохот... Оценив обстановку, я выждал момент и громко сказал: «Товарищи, к вам обращается доктор!»

Слушали меня не перебивая, внимательно. А я говорил, что моя профессия – лечить людей, спасти их жизнь, но сейчас я приехал сюда, чтобы помочь правильно решить главный вопрос, тоже касающийся жизни людей: как жить завтра? Привел несколько примеров в поддержку линии деревенской партиячейки. И я заметил, что настроение людей поднялось, сразу стало больше сторонников у бедняцкой части собрания. И хотя кулаки снова попытались испробовать прежний маневр – в беспорядочном шуме утопить принимаемую резолюцию, – этот маневр ничего уже изменить не мог... Необходимое решение приняли большинством поднятых рук.

Между тем на улице уже была глубокая ночь. Распрощавшись, я собрался в обратный путь.



– Мы вас не можем отпустить, – сказал мне встревоженный секретарь партийной ячейки, – только что узнали: кулаки готовятся отомстить вам, хотят встретить на выезде из деревни...

– Но мне нужно ехать, меня ждут в Кисловке...

– Не можем отпустить, – повторил секретарь и, обращаясь к членам ячейки, сказал: – Товарищи, кто за то, чтобы доктору Углову запретить отъезд из деревни по мотивам ненужности лишних партийных жертв? Прошу голосовать. Единогласно.

Мне оставалось только подчиниться...

Поныне не угасает в душе чистота и суровость партийных взаимоотношений тех лет. Зримо видится первый партийный секретарь Колтунов, беспощадный к врагам и внимательный к товарищам.

– Тебе, Федор Григорьевич, – говорил он мне, – нужно закаляться против излишней доверчивости, которой имеешь больше, чем следует. Товарищ – он всегда на равных с тобой, будет спокойно в глаза глядеть, а который вьется сбоку, беспричинно улыбается тебе, на его устах один мед и никакой критики и самокритики – ты такого научись распознавать!

Должен признаться, что в иные моменты я забывал напутствие Колтунова: не умел вовремя разглядеть зло, скрытое под маской доброты, жадность, выдаваемую за бережливость, подлость, замаскированную под благородство. После тяжело сыпались удары! Но один ли я такой? И не в нашем ли это национальном характере пытаться найти хорошее даже там, где никто другой его не видит?

Перенесенный мною три года назад тиф снова напомнил о себе. Я стал ощущать постоянное недомогание, меня знобило, было холодно даже сердцу. На врачебном консилиуме порекомендовали: поезжайте работать в южные районы страны. Была осень 1930 года.

Прощай, Кисловка! Прощай, моя первая «самостоятельная» больница! С грустью уезжал я отсюда, сознавая, что очень многое здесь мне дорого, и сам я стал тут своим, чуть не полсела пришли меня провожать, кто-то совал в телегу, к моим чемоданам, узелки с вареными яйцами и пышками; хмурился, покашливал, переживая по-своему, мой славный помощник Павел Петрович. Мы обнялись, расцеловались.

А потом была железная дорога, мимо пробежали просторы Украины с пышными садами и белыми хатами, и вот он, юг – высокое голубое небо, не виданные дотолем пальмы, завораживающая лазурь моря, гортанный говор на улицах... Я получил направление в село Отобая Гальского района Абхазии. Вручавший мне предписание веселый кавказец сказал:

– Будешь жить там, как князь, дорогой, обещаю. Сам бы туда поехал, но куда тебя дену?! Поезжай ты!

Не знаю, что имелось в виду под ожидавшей меня якобы в Отобае «княжеской жизнью». Наверно, лишь то, что под больницу выделили дом сбежавшего князя. Просторный, он был сколочен из досок, давно не ремонтировался: в стенах зияли изрядные щели, гуляли сквозняки, во время ливней с потолка струилась вода... Камин, заменявший в доме печь, грел лицо, руки, но спина нещадно мерзла... Возможно, вот из-за таких жилищ, из-за сырого климата я встретил здесь столько людей с пневмонией, сколько не приходилось видеть даже в Сибири. В нашей больнице, во всяком случае, больные могли лежать лишь в теплое, сухое время года. В другие же месяцы главной работой были выезды на дом к нуждавшимся в лечении или скорой медицинской помощи.

Эти поездки иногда ночью, в дождь, при сильном ветре были как опасные приключения. Конь под тобой осекается, с трудом преодолевает горные ручьи, кручи, непролазную грязь. Твой спутник, суровый незнакомый человек, не говорит за всю долгую дорогу ни единого слова, а кругом – ни огонька, никаких примет близкого человеческого жилья...

Как-то повезли меня к больному ребенку за много километров петлевыми каменистыми тропами. У мальчика оказалась запущенная дифтерия, он погибал не столько от затрудненного дыхания, сколько от сердечной недостаточности. Я делал все, что мог, чтобы вывести малыша из тяжелого состояния, и видел: поздно, уже не спасешь... Несколько часов самых напряженных моих усилий не дали никаких результатов. А в соседней комнате собралось человек пятьдесят

родственников, и как я только выходил, чтобы помыть руки или еще за чем-нибудь, наталкивался на мрачные лица. Признаюсь, было жутко и тоскливо. А вскоре убедился: ничто уже не поможет, мальчик умирает. Дыхание у него стало тихим, поверхностным, хрипы исчезли, личико вытянулось, нос заострился. Я приподнял веко и коснулся роговицы – ребенок не реагировал... От давящего чувства собственного бессилия, от усталости, от того, что я не оправдал чьих-то надежд, что мне могут не поверить, – подкашивались ноги.

Когда я проходил через комнату, где по-прежнему молчаливо сидели родственники, снова ощутил спиной тяжесть их взглядов. Они еще не знали, что все кончено... Во дворе я нашел своего коня, вывел его за ворота, и в этот момент в доме раздался страшный, душераздирающий крик. Я вскочил в седло и погнал коня прочь. Мне казалось, что здесь не поймут, почему невозможно было помочь мальчику, меня догонят и растерзают. И действительно, вскоре я услышал перестук подков за своей спиной, спешил, готовый к худшему. Но подъехавший человек сказал мне, что я напрасно столь поспешно покинул печальный кров: меня там уважают, и разве не все в этой жизни смертно – даже железо, даже камни и горы. А что лица у близких мальчика были мрачные – это ведь тоже объяснимо: умирал общий любимец, своя, родовая кровь... Человек проводил меня до Отобая, на прощание почтительно пожал руку.

Этот случай лишний раз убедил меня, как авторитетно наше звание – врач. Везде, в любой обстановке.

Как и в Кисловке, в Отобае я был врачом по всем специальностям. Особенно много больных обращалось, повторяю, с пневмонией. Не знающие тогда про антибиотики и сульфаниламидные препараты, мы лечили их лишь тем, что было в нашем распоряжении. Назначалось камфарное масло под кожу, а при снижении температуры – отхаркивающее и банки... Возвращаясь мысленно к тем годам, я думаю, что опытом минувшего освещается настоящее и будущее. И медицина, чтобы достичь нынешнего уровня, должна была пройти через тот, кажущийся нам сейчас в чем-то примитивным, период.

Но основное заболевание, с которым приходили ко мне, была малярия, вековая спутница тех мест. Она страшно изматывала людей. Худые, желтые, с огромной селезенкой, занимающей весь живот, измученные приступами лихорадки, они страдали невыносимо. Лечение знали одно – хина внутрь и в виде уколов. Последние действовали лучше, но были болезненны.

Всю тяжесть заболевания малярией я испытал на себе. Прицепившись, трепала она меня беспощадно. Странное и гнетущее чувство испытываешь, когда вдруг в жаркий летний день или в натопленной комнате тебе становится невыносимо холодно. Что бы ни надел на себя, во что бы ни закутался – спасения нет: лихорадка начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает. О стакан с горячим чаем зубы стучат так, что боишься его разбить... Но и чай не помогает! И так с полчаса или немногим больше. А потом дрожь внезапно прекращается, и сразу становится тепло. Еще немного, и уже жарко! Весь в испарине, не знаешь, куда деться от навалившегося на тебя зноя; он давит, давит, и ты обливаешься липким потом... А через несколько часов, когда приступ заканчивается, во всем теле ужасная слабость, с трудом заставляешь себя одеться, двигаться не хочется: в постель бы, и лежать, бездумно лежать до утра... У меня признали сразу две формы малярии, в том числе самую тяжелую – тропическую. От приема больших доз хины я совсем оглох... Вот тебе и лечение солнцем! Приехал на юг укрепить здоровье, а приходится уезжать отсюда еще более ослабленным, чем был до этого. А главное, обдумывая первые годы своей работы, я с ужасом видел: знания ничтожны, я слабо разбираюсь в болезнях, мало что знаю о современных методах лечения, я врач по диплому, но сам себя назвать настоящим врачом пока не могу – нет на то права, совесть не позволяет... Нужно продолжать учиться.

## Глава VI

И опять дорога... Впереди ждал меня Ленинград – прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский... Он хотя и не оперировал тогда, но его присутствие на операциях, присутствие выдающегося хирурга, чувствовалось во всем... И как она ответственна, работа хирурга!

В общем, когда ехал из Сухуми в Ленинград, мысли мои были только о хирургах и хирургии. Я говорил себе: или сейчас, или никогда... Или сейчас я выберу врачебную специальность, стану совершенствоваться в ней, отдам ей всего себя, осуществлю золотую мечту детства, или останусь врачом вообще. Кое-чему, конечно, научусь, кое-чего достигну, вот только работа будет не по

вдохновению, а так, как у многих, – исполнением обязанностей... Предстояло выбрать.

И в Ленинграде прямо с вокзала я пошел в горздравотдел, во многих кабинетах побывал, много слов выслушал, но своего добился: меня направили в больницу имени Мечникова – в клинику профессора Оппеля. До сих пор уверен, что это было самое ответственное решение из всех, когда-либо принятых мною в жизни. Этот августовский день 1931 года официально приобщил меня к хирургии. Теперь уж навсегда!

Вере Михайловне выписали направление на кафедру акушерства и гинекологии. Подняв на руки детей, мы пошли ленинградскими улицами. И солнце, чудилось, светило сильнее, чем когда-либо, приветливо сиял золотой шпиль Адмиралтейства, верилось только в хорошее, в то, что все прекрасное в жизни лишь начинается... Подмывало нетерпение работать засучив рукава! Ведь там, на периферии, самые большие операции, которые делал, – это вскрытие флегмоны да панариция. И делал-то их, признаться, так, как бог на душу положит, – чуть ли не в расчете на «авось». А теперь предстоит овладевать чудесами высокого хирургического искусства. И где? В клинике самого Владимира Андреевича Оппеля!

Профессор Оппель в то время был одним из наиболее популярных хирургов-экспериментаторов. Он смело брался за «операции отчаяния» – за такие, которые хотя и были единственной надеждой на спасение больного, но в то же время из-за тяжести считались сверхопасными, практически безнадежными. Брался, и очень часто ему сопутствовал успех!

Как ученый В. А. Оппель много писал по общим вопросам хирургии, по хирургии желудка, был ведущим специалистом в области военно-полевой хирургии. Его пытливый, беспокойный ум не мог мириться с простой констатацией фактов. Не разгадав сущности некоторых заболеваний, он привлек к себе в помощь эндокринологию, пытаясь – и во многих случаях не без успеха! – объяснить те или иные патологические расстройства в организме нарушением функции той или иной железы внутренней секреции. В частности, для объяснения сущности так называемой самопроизвольной гангрены, при которой наступает омертвление конечностей, нередко в самом молодом возрасте, он выдвинул теорию гиперфункции надпочечников. А для лечения такого заболевания предложил операцию удаления одного из надпочечников.

Эта теория вызвала бурные споры на страницах специальных медицинских изданий и на заседаниях Хирургического общества, на конференциях, где сам Владимир Андреевич Оппель демонстрировал во всем блеске свои богатейшие ораторские способности. Недаром на его лекции студенты, как говорится, валом валили, и многие опытные врачи считали за честь побывать на проводимых им практических занятиях. И ведь поныне теория гиперфункции надпочечников, предложенная В. А. Оппелем, имеет своих сторонников. Значит, с такой захватывающей убедительностью была она в свое время обоснована.

А эта теория, в которой В. А. Оппель выдвинул новый оригинальный взгляд на сущность заболевания, была не единственной у него. Так, например, возникновение анкилозирующего спондилоартроза, при котором происходит прогрессирующая неподвижность позвоночника, он объяснял нарушением функций некоторых эндокринных желез... И труды, написанные его рукой, читаешь с увлечением, поражаясь отточенности мысли и совершенству доказательств. Не удивительно, что под руководством такого большого ученого выросла плеяда крупных отечественных хирургов. В тот год, когда я робко вошел в двери клиники, здесь работали такие выдающиеся мастера скальпеля, как профессор Назаров, профессор Самарин, доктор Торкачева, доктор Бок...

– Ну, Федя, – подбадривал я сам себя, – нам подкачать никак нельзя. Мы, сибирские, – гордые и упрямые, давай держаться!

Поражала клиника – ее масштабность, размах, совершенное оборудование. И поначалу я все же терялся – из убогой сельской больнички и сразу сюда! Поражал и сам Оппель, неповторимы были его показательные операции. Демонстрируя свой точный глазомер и точность расчета руки, он одним движением скальпеля рассекал сразу все слои брюшной стенки до брюшины включительно. Правда, многие к этому относились неодобрительно. Николай Николаевич Петров, который был очень осторожным хирургом, внушал своим ученикам, что так делать не следует, здесь заложен ненужный риск для больного. И он рассказал, что однажды в его присутствии Оппель при большом разрезе, выполненном одним смелым движением руки, не только вскрыл брюшину, но и сделал надрез стенки тонкой кишки...

Удивляло меня, что, будучи в обычных условиях человеком, в общем-то, выдержанным, корректным, на операциях этот большой ученый мог накричать на ассистентов, отшвырнуть в сердцах инструмент... Молодые врачи боялись ему

ассистировать, и я тоже избегал этого, опасаясь, что в ответ на резкость сам отвечу резкостью и, конечно, тут же буду изгнан из клиники.

Как интерн – врач для черновой повседневной работы – я был прикреплен к одному из ассистентов для обычного лечебного дела. До сих пор благодарю судьбу, что при таком случайном распределении попал не к кому-либо, а именно к Марии Ивановне Торкачевой – искусному хирургу и талантливому педагогу. Ее одухотворенное лицо обращало на себя внимание среди сотен других. Будучи человеком сильной воли, она исключительно заботливо относилась к слабым, и чем тяжелее, безнадежнее был больной, тем больше привязывалась к нему, тем одержимее стремилась помочь, делая буквально невозможное. Требовательная к себе, она была беспощадной к нам, своим помощникам, ее распоряжения отличались четкостью и краткостью. Единственно, с кем она бывала безукоризненно внимательной, ласковой, даже многословной, по-матерински заботливой, – это с больными.

Помню, как к ней в отделение попал юноша с тяжелым септическим остеомиелитом (воспаление костного мозга) нескольких трубчатых костей. Ему делали бесконечное количество разрезов, долбили кость, у него было много свищей, из которых сочился гной. Ослабленного, истощенного, его считали практически безнадежным: все врачи клиники отказались продолжать лечение. И Мария Ивановна, взяв этого несчастного к себе, ухаживала за ним, как за собственным ребенком. Сама с ложечки кормила, приносила из дома вкусные и питательные кушанья, безропотно выслушивала его капризы, настойчиво добиваясь главного – поднять силы этого парня, разуверившегося во всем, ставшего озлобленным, добиться перелома в его болезни. И добилась! Не только перелома, а в конечном счете полного излечения.

С восторгом, даже – точнее – с благоговением смотрел я на Марию Ивановну, удивлявшую своей самоотверженностью и самопожертвованием. В ее отношении к больным я видел идеал врача и сам старался всячески помогать ей, охотно выполняя любую черновую работу.

И сейчас, спустя многие годы, думаю: пусть не всегда у Марии Ивановны хватало выдержки и такта по отношению к нам, своим помощникам, в ее требовательности никогда не было мелочности, а за вспыльчивостью скрывалась заботливость. И она первая научила меня в сомнительных случаях ставить себя на место больного и тогда уж решать вопрос, как поступить... И хирургическая техника, которой я добился, была достигнута мною благодаря Марии Ивановне,

вернее, тому, что с самого начала тщательно выполнял все ее указания и советы.

Не изгладится из памяти, как я под ее ассистенцией делал свою первую операцию – ампутацию по методу Шопара. Уже в ходе операции Мария Ивановна в строгой форме сделала мне несколько замечаний, говоривших о том, что она недовольна моей работой. А после операции мне был устроен лихой разнос: я, как выяснилось, не знаю анатомии. Я, оказывается, не умею держать в руках инструменты, не умею манипулировать, работать левой рукой, хорошо завязывать узлы – и вообще: хочу ли я быть хирургом?!

Я сидел красный, как после бани с парной, а Мария Ивановна продолжала обвинения – и все это громко, в сердцах, высоким голосом. А закончила угрозой: если я не приобрету навыки в хирургической технике, больше к операции допущен не буду. И практиковаться следует не на больных, а дома или в перевязочной. И должен избрать себе определенный метод завязывания узлов, освоить его в совершенстве, и так далее и тому подобное... Гнетущее чувство собственной неполноценности давило на меня, однако я признавал: Мария Ивановна права. Обижайся не обижайся – права!

В своих требованиях к нам, особенно когда ей казалось, что мы недостаточно внимательны к больным, Мария Ивановна могла быть придирчиво-невыносимой. И однажды, выведенный из себя ее нападками, я в сердцах воскликнул:

– Что за скотское обращение!

– Вам не нравится? – тут же гневно ответила она. – Иначе не могу и не буду. Ради больных готова обращаться еще и не так. А если не хотите со мной работать – уходите! Скажу профессору – вас завтра же переведут к другому ассистенту.

Ничего страшного в том, что меня пошлют в другое отделение, не было: каждым отделением руководил опытный хирург – ассистент профессора, у которого тоже можно было многому научиться.

Как я должен был поступить?

Впрочем, для меня не было вопроса. А задал его сейчас, задним числом, лишь потому, что впоследствии сталкивался с удивительно странным (если не сказать



сильнее!) отношением учеников к своим наставникам, таким отношением, что просто диву даешься. Для некоторых чуть ли не нормой стало: получил он замечание, сделан ему выговор за нерадивость или неумение, – ах, так, побегу с жалобой в верха! Меня обидели, но и я нервы попорчу! Мало ли что работать не умею, с обязанностями не справляюсь – ты меня вот такого уважай!.. И начинает крутиться колесо никому не нужных, мешающих делу разбирательств и объяснений. И не хочет понять человек, что уважение других заслуживают хорошими делами, порядочным поведением, а нет этого – уважать не прикажешь. Никакая административная инстанция не поможет.

К сожалению, не все понимают, что, поддерживая кляузника или жалобщика, мы тем самым обрекаем его на гибель как будущего специалиста. Сочувственно относясь к его необоснованным требованиям, мы как бы благословляем этого человека идти в науке легким путем, а разве легкий путь – особенно в хирургии – может быть? Невольно приходит на ум известное суворовское правило о том, что если в учении трудно – в походе будет легко. Но всегда ли следуем этому?

И тогда, молодой, неопытный специалист, я понимал, а вернее – чувствовал: Мария Ивановна желает мне только добра. В интересах достижения высокой цели я должен смирить гордыню, пусть мне говорится что-то в резкой форме, повышенным тоном: главное тут не форма, а содержание. И как мне ни было в тот день обидно, я подкараулил вечером Марию Ивановну и попросил у нее прощения за свою вспышку. И боже, какой радостью засветились ее глаза, как обрадовалась она! Как все сильные люди, она была проста и душевна. Наверное, с той поры мы стали друзьями.

Попросив у перевязочной сестры основные хирургические инструменты, я в течение нескольких месяцев ежедневно кропотливо работал с ними дома, имитируя различные операции, приучал к ним не только правую, но и левую руку. Действуя хирургической иглой и иглодержателем, штопал чулки, обязательно помещая чулок в ящик стола, возясь с ним вслепую, чтобы научиться владеть инструментами в трудных условиях. Выбрал наконец и понравившийся мне метод завязывания узлов, стал практиковаться быстро и точно завязывать их. На это, забегая вперед, скажу, ушло целых восемь лет, причем тренировался ежедневно! Зато мастерства достиг. Во всяком случае так отметил Н. Н. Петров. Учитель, помнится, делал резекцию желудка, а я ему ассистировал. Обычно он сам завязывал узлы. А тут, едва он успеет продернуть нитку и передать иглодержатель сестре, я уже мигом закончу узел. Он с удивлением посмотрел на мои руки и раз, и другой, а потом сказал: «Ну и зол ты,

папенька, узлы завязывать!»

А Мария Ивановна после того памятного разноса доверила мне делать новую операцию при своей ассистенции ровно через три месяца. И на этот раз я уже не услышал от нее ни одного замечания. Бесценной наградой прозвучали для меня сказанные ею слова: «Совсем другое дело... Видно, что поработали над собой!»

Я не переставал тренироваться в освоении техники операций. Этому же позже настойчиво учил своих учеников. По одной операции, которую посмотрю, могу теперь безошибочно определить: тренируется ли этот хирург дома, совершенствуя свою профессиональную технику, или ограничивается лишь практикой на больных. Я знал студентов шестого курса, которые по умению, отработанному в домашних тренировках, стояли выше, чем хирурги с тремя годами практики. А чтобы в совершенстве отретпетировать тот или иной прием, его необходимо повторять тысячи и даже десятки тысяч раз. Дома у себя я могу это сделать за три-четыре месяца, если же буду осваивать его только на операциях, понадобятся годы.

Продолжая рассказ об уроках М. И. Торкачевой, хочу обратить внимание на то, чего уже касался в этой главе: на ее чрезвычайно бережное и уважительное отношение к больным. Мария Ивановна никого из больных, даже самых молодых, не позволяла себе звать на «ты». Не терпела, когда кто-либо обращался к пациенту развязно или со снисходительно-пренебрежительными нотками в голосе. Добивалась, чтобы мы, молодые врачи, разговаривали с любым больным как с самым уважаемым и дорогим человеком. Именно с тех пор я непреклонно следую этому хорошему завету и всегда пресекаю любую грубость или вульгарность в обращении с больными, если замечаю такое у своих подчиненных.

Как пошленько и жалко выглядит со стороны врач, позволяющий себе фамильярность с больными, граничащую с цинизмом. Недавно я с возмущением узнал, как вел себя во время обхода доктор Е. К. С-в. Обращаясь к пожилой женщине с заболеванием кишечника, он спросил ее: «Ну что, бабка, про .....?» Нецензурное, не употребляемое в обществе и литературе слово как бы повисло в тишине палаты. А «бабка» взглянула на С-ва испуганно-недоуменно и одновременно брезгливо и, ничего не ответив, отвернулась к стене. «Да, был стул», – поспешил сказать ординатор, готовый от стыда за своего старшего коллегу сквозь землю провалиться. Он-то знал, что «бабка» – видный ученый, профессор из Технологического института. И лишь на самодовольном лице С-ва

не было и тени смущения...

Как самого молодого и самого безотказного, меня часто направляли в терапевтические и инфекционные клиники консультировать больных, когда оттуда приходило требование прислать хирурга. Сначала очень смущался, когда такие знаменитые терапевты, как, например, профессор Вышегородцева, спрашивали моего мнения, советовались со мной. И это, конечно, повышало чувство ответственности. Вечерами я уходил в читальный зал, долго сидел над книгами, конспектировал. Тут, под шелест переворачиваемых страниц, возникла у меня дерзкая мысль: сделать шажок в науку – описать несколько случаев гнойников прямых мышц живота при брюшном тифе.

Дело в том, что во время консультаций я встретил перенесших брюшной тиф больных, у которых образовался гнойник в стенке живота – у всех в одном и том же месте. В специальной литературе этот вопрос был освещен мало, можно сказать, поверхностно, и Мария Ивановна одобрила мое намерение: «Проблема в руки вам идет – углубляйте!»

Через несколько месяцев настойчивых занятий мой доклад был готов. Предложили заслушать его на заседании Оппелевского кружка. К тому времени Владимир Андреевич Оппель умер, и руководителем клиники стал Н. Н. Самарин.

Стоит ли объяснять, как волновался я в этот день, какие противоречивые чувства одолевали меня! Все ли согласятся со мной, что гнойники возникают вторично, а вначале имеет место гематома, которая, в свою очередь, образуется на месте перерождения мышц с последующим их разрывом и гематомией. Со всей тщательностью я приготовил препарат, где гематома прямой мышцы живота была показана как предстадия абсцесса.

Вопреки моим опасениям, доклад был встречен с интересом. Профессор Нечаев, крупный терапевт, сказал, что доклад доктора Углова относится к таким, после которых уходишь с ощущением приобретенной пользы, обогатившись какими-то новыми сведениями. И другие члены кружка сказали добрые слова в мой адрес. Все было как нельзя лучше, пока не заговорил профессор Самарин.

– Покажи препарат, – попросил он.

Я кинулся к тому месту, куда его положил, но его там не было. Выяснилось, что дежурный санитар выбросил его... в туалет. Я был подавлен.

– Даже одно это – отношение Углова к препарату – характеризует его как никудышного научного работника, – раздраженно заявил профессор Самарин. – И почему такое восхваление докладу? В нем, разобраться, нет ничего от науки, а из Углова, вижу, никогда толкового научного работника не получится. Крыльев для полета нет. Не получится!

Мария Ивановна пыталась меня утешить, говорила, что Самарин сегодня не в духе, от этого и его раздражение, на самом деле он так не думает. Я слушал и не слышал ее, ощущая, как от стыда, обиды, унижения горят мои щеки. Мнение руководителя клиники казалось мне убийственным и главное, где-то подспудно, глубоко в себе, я даже как бы соглашался с ним. И тут же решил: вернусь на периферию. Если не способен заниматься наукой, постараюсь быть хорошим хирургом. Просто хирургом.

Чуть ли не на другой день было объявлено, что горздравотдел проводит мобилизацию врачей-коммунистов для работы на Крайнем Севере. Я попросил записать меня добровольцем. Решил поехать на свою родину, в Восточную Сибирь, по условиям тоже приравненную к районам Крайнего Севера.

Так я поступил в распоряжение Ленводздравотдела, откуда тут же получил указание: до лета, пока не откроется водный путь, пройти курсы специализации по рентгенологии. Но занятия на этих курсах пришлось отложить: по приказу военкомата я был направлен на другие – хирургические. Это было как нельзя кстати! Я знал, что там, в Сибири, мне не с кем будет советоваться, должен буду решать все сам, операции предстоят разнообразные, самые ответственные, и я с жадностью слушал лекции, что нам читали, прикидывая при этом, как можно будет использовать полученные сведения при самостоятельной работе.

Хотя у нас читался курс военно-полевой хирургии, мы за три месяца прошли все основные разделы общей и специальной хирургии. Много внимания было уделено брюшной полости, а также травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии. Каждое занятие возбуждало неслабеющий интерес: а что еще узнаю? Помогало то, что кое с чем я уже сталкивался в своей небогатой врачебной практике, а мысль о том, что в районной больнице мне предстоит встретить подобных больных, заставляла вникать во все тонкости: как поставить диагноз, как лечить, как делать операцию, какой должен быть

наркоз, какая анестезия?

С не меньшим интересом, не покидавшим меня в те дни душевным подъемом проходил я и курсы специализации по рентгенологии при кафедре профессора Самуила Ароновича Рейнберга. Здесь нас учили, что диагноз не может быть чисто рентгенологическим, он должен быть обязательно клинико-рентгенологическим: детально знакомили с клиникой того или иного заболевания, дополняя ее сразу же рентгенологической картиной. И тут, внимательный, активный на занятиях, много читавший дополнительной литературы, я обратил на себя внимание профессора. Он был очень удивлен, что я не рентгенолог и не собираюсь им быть. Вызвал к себе и долго убеждал «не бросать рентгенологические способности на ветер...»

– Вы рождены быть рентгенологом, – доказывал мне С. А. Рейнберг. – Способных хирургов много, и неизвестно еще, будете ли вы способным среди них... А рентгенолог вы уже состоявшийся, да еще с божьей искоркой.

Но мой выбор был сделан, и ничто – ни похвалы, ни первые неудачи и лишения – не могло заставить меня колебаться, скрупулезно взвешивать все «за» и «против»... А рентгенология – я уже тогда понял – всегда будет оказывать неоценимые услуги в моей хирургической деятельности. И особенно пригодилась она мне, когда я стал заниматься хирургией легких и сердца. Умея читать рентгеновский снимок, я мог самостоятельно принимать то или иное решение, опираясь при этом еще на знание клиники, и мнение специалиста-рентгенолога было для меня любопытным и важным, но, признаюсь, не обязательным.

Прохождением курсов по двум дисциплинам, по существу, закончилась моя подготовка к поездке в Сибирь. Вещи было собрать недолго: все наше семейное имущество той поры свободно умещалось в одном чемодане. Другие же были заняты книгами, и в дороге эти огромные чемоданы по своей тяжести могли вызвать соблазн у любого вора!

А нужные книги я искал по всем ленинградским магазинам и, кажется, своими настойчивыми расспросами и тем, как жадно рылся в кипах старых медицинских журналов, изрядно намозолил глаза букинистам. Искал я книги по хирургии, которые бы помогли понять больного и поставить точный диагноз. Искал и те, в которых подробно описывались методика и техника операций. Ведь большинство операций, что ждут меня, я не только не делал, но даже не видел,

как их делают. Слишком мало времени было отпущено мне на подготовительный период перед такой большой, желанной и одновременно пугающей работой!

И снова под несмолкаемый стук вагонных колес, в поезде, увозящем меня в край детства, было время крепко подумать: с чем же как врач я еду? Готов ли я к тому, чтобы уверенно стоять у операционного стола? Понимал, что надеяться могу лишь на самого себя...

Два года работы на участке ничего не дали с точки зрения хирургических навыков. Из неполных двух лет пребывания в клинике В. А. Оппеля я шесть месяцев провел на курсах, итого в активе чуть больше года обучения хирургии. Причем как врач-интерн я видел сравнительно много больных, которых надо было выхаживать, и почти не видел больных, которых надо было оперировать. Сам же за этот срок сделал полтора-два десятка самых простых, маленьких операций. Конечно, не сбросишь со счетов те теоретические занятия, что проводили с нами ассистенты, те лекции, что читали В. А. Оппель, Н. Н. Самарин. В диагностике, в понимании больного они – надежное руководство, а вот вопросы показаний и методики операций придется выяснять по книгам, которые, надрываясь от тяжести, тащу с собой за тысячи верст...

На станциях скапливалось много людей, нельзя было достать никаких продуктов. Металось страшное слово: «голод». Говорили, что где-то гнили овощи, мокло на снегу зерно, а люди пухли от недоедания. Сознание, что и я буду делить с народом его нелегкую судьбу, порождало гордость за себя, хотелось быстрее приехать на место и начать работу в больнице, лечить пока незнакомых мне больных, несчастных людей, живущих вдали от шумных дорог, совершенно не знающих о той большой медицине, к которой их земляк только-только прикоснулся!

И я увижу после долгой разлуки маму...

## Глава VII

«Милый мой Киренск, я за годы нашей разлуки стал старше, а ты помолодел!..» Так я думал, со счастливым удивлением и понятной грустью разглядывая не забытые и в чем-то уже другие улицы родного города. Где бывала тишина и

вековая невозмутимость? Она взорвана строительным грохотом, испуганно дребезжат оконца темных от старости домишек: на месте бывшего затона парходчика Глотова забивают сваи, сооружают судоремонтный завод, которому уже подобрано звонкое, в духе времени, имя – Красноармейский. А на площади вовсю гремит громкоговоритель, из его широкого раструба несутся бодрые марши и призывы и, конечно, новости со всей беспокойной планеты: с киренчанами говорит Москва. На здании клуба, который назван Народным домом, висит красочная афиша, приглашающая на встречу с ударниками производства.

И то, что Киренск всколыхнулся, как бы стряхнул с себя привычную дрему, и на его улицах стало много энергичных, очень деловых людей, и пионеры носят от дома к дому щит с надписью: «Пьянство – опиум для народа!», а девушки коротко подстрижены и ходят со стопками книг в руках, – это тоже социализм... Это новый день, и он тут, в маленьком городе, почти поселке, затерянном среди таежных массивов, особенно заметен и радостен.

Я был назначен главврачом и хирургом межрайонной больницы водников. Больница обслуживала рабочих и служащих водного транспорта: вверх по Лене до Качуга – это восемьсот пятьдесят километров, и вниз до Олекмы – тысяча пятьсот километров. Ближайшее подобное медицинское учреждение отстояло за две с половиной тысячи километров и находилось в Якутске, и наполовину меньше было до Иркутска. В общем, сибирские масштабы! И мы еще, помимо водников, принимали в больницу крестьян многочисленных прибрежных деревень. Так что скучать некогда было. Впрочем, я опережаю события...

В день приезда в райкоме партии, куда я пришел стать да партучет, мне сказали:

– Считайте, что лично для вас сейчас нет более важной партийной задачи, чем обеспечить надежную охрану здоровья людей. Приехали вы не на готовенькое, придется начинать чуть ли не с нуля, да еще многое исправлять понадобится...

Тут же я узнал, с каким нетерпением меня действительно ждали, и в особенности потому, что к моему приезду вовсю развернулись события, начавшиеся два года назад. А было так...

Заочно, по телеграфу, в Киренск пригласили, как сам он себя рекомендовал, «крупного хирурга» по фамилии Кемферт. Он дал согласие приехать и принять больницу при условии большого персонального оклада, что и было обещано ему Ленводздравотделом.

Путь из Иркутска в Киренск доктор Кемферт проделал с большой помпой. На все крупные промежуточные пристани посылал телеграммы, что едет знаменитый хирург. Его встречали, он походя давал консультации, лилось шампанское, и все увесистей от подношений становился багаж «знаменитости». И в Киренске он отрекомендовался как хирург с семнадцатилетним стажем, а еще и специалист по ухо-горло-носу, при этом мимоходом заметил, что широко известен в научных кругах. Стало ясно – киренчанам повезло так, как никогда до этого не везло, в самом Иркутске, пожалуй, будут завидовать: не у них Кемферт, а здесь!

В только что построенной больнице водников не было ни мебели, ни аппаратуры – одни кровати да кое-что из инструментария. Кемферта это не смутило, он не стал утруждать себя хлопотами по приобретению всего необходимого – сразу же приступил к операциям. Операционный стол заменяла ему обычная деревянная кушетка, а в ассистенты он назначил приглянувшуюся ему молоденькую девушку, работавшую до этого кастеляншей.

К «выдающемуся специалисту» шли вереницей. И сам он любил быть на людях: каждую неделю в Нардоме читал «научные доклады», в которых рассказывал об удивительных случаях излечения им, Кемфертом, безнадежных больных. Такая самореклама, разумеется, на первых порах срабатывала безошибочно, и к Кемферту было доверие не только как к врачу – каждый считал чуть ли не за честь принять его за хлебосольным столом. Кемферт не отказывался.

Однако когда феерический бум первых месяцев угас, Кемферт стал виден в деле, киренчане призадумались. И было от чего! Лечение, назначаемое новым врачом, не приносило облегчения, кое-кто при таких сравнительно небольших операциях, как удаление грыжи, аппендицит, скончался под его ножом. Вызывало недоумение, что в операционную он никого, кроме кастелянши, не пускает, дверь держит на засове, и еще одну девушку приблизил к себе: из простых санитарок перевел ее на должность операционной сестры, хотя она вряд ли могла отличить скальпель от зажима.

Несколько позднее, когда уже стала известной личность хирурга, этот факт был следующим образом отмечен в местной стенгазете. Перед кушеткой, на которой



лежит человек с разрезанным животом, стоит кастелянша с большим кухонным ножом в руке. И внизу подпись: «Ничего не видно, братики, кроме сырых кишков!»

К этому времени на должность заведующего Ленводздравотделом назначили доктора Ивана Ивановича Исакова, человека умного, образованного, беспокойного и добросовестного в работе (позднее он стал профессором кафедры терапии Института усовершенствования врачей в Ленинграде). Он с тревогой прислушивался к тому, что говорили о Кемферте, и решил сам разобраться, в чем тут дело, и, главное, так, чтобы не обидеть Кемферта своей подозрительностью. Побеивался, что до хирурга дойдут слухи, он оскорбится не на шутку и уедет, а огромный район опять окажется без специалиста.

Поначалу Иван Иванович побывал на «научном докладе» Кемферта и сразу понял: доклад этот – не что иное, как набор громких случайных и заумных фраз, явно выписанных из разных книг: докладчик, видно, сам туманно представлял то, о чем говорит с трибуны. Тогда заведующий Ленводздравотделом познакомился с операционным журналом и обнаружил в нем такие записи, которые мог сделать лишь человек, знающий медицину понаслышке. Исаков немедленно послал официальный телеграфный запрос в один из городов Западной Сибири, где до этого, судя по документам, работал Кемферт: «Подтвердите» и прочее... Ответ пришел не из Отдела здравоохранения, а из... прокуратуры. Сообщали, что авантюрист Кемферт, выдававший себя за хирурга, объявлен во всесоюзном розыске – для привлечения к судебной ответственности.

И я, как говорится, попал с корабля на бал: толком не приступив к своим обязанностям, должен был участвовать в следствии по делу Кемферта в качестве эксперта. Оказалось, что этот проходимец уже неоднократно судился за подобные аферы – многих людей он лишил жизни, многим искалечил здоровье. Он не имел никакой медицинской подготовки и, если верить его «чистосердечному признанию», когда-то лишь состоял в помощниках у ротного фельдшера. В Киренске Кемферт «прооперировал» около ста человек, из них двенадцать сразу умерли, а у других возникло послеоперационное нагноение ран и остались свищи.

Натворил он бед и как «специалист» по уху-горло-носу. Амбулаторно делал больным операцию, состоящую в следующем: ножницами надрезал одну из носовых раковин – оттуда начиналось кровотечение. Тогда он через нос вставлял

зонд Блелока, привязывал к нему тампон и протаскивал его через ноздри из заднего носового входа к переднему. Кровотечение останавливалось. Через несколько дней он извлекал тампон, и на этом месте теперь образовывалось сращение носовой раковины с носовой перегородкой. Налицо были все «атрибуты» – кровь, боль, тампоны, перевязки, и все это подкреплялось «учеными» рассуждениями. И если больному не становилось лучше (а ему, понятно, не могло быть лучше) и он продолжал верить «врачу», Кемферт делал ему такую же операцию с другой стороны. Мне пришлось увидеть пациентов Кемферта, которые приобрели сращение носовой перегородки с носовыми раковинами с двух сторон, что очень затрудняло дыхание. В их числе были люди интеллигентные, разбирающиеся, казалось бы, в элементарных основах медицины. Один из них был учителем школы и свою доверчивость по отношению к Кемферту объяснял мне так:

– Он ведь, прохвост, чем нас брал? Красивой фразой! А сердце от красивой фразы сжимается, начинаешь сразу думать про иную жизнь, самому хочется говорить красиво, и вот таким манером, замороженный, плюхаешься в лужу. И лишь когда плюхнешься – тогда поймешь!

Трудно, особенно за давностью лет, оспаривать приговор суда, но и тогда, и сейчас этот приговор по делу Кемферта кажется мне неоправданно мягким. Дали ему, помнится, меньше пяти лет, а поскольку отбывал он наказание в Киренске, то мы узнали: «за примерное поведение» отпущен Кемферт досрочно, не отсидев и половины срока. Население было возмущено таким милосердием суда по отношению к человеку, на совести которого только в Киренске двенадцать погубленных жизней и большое число инвалидов. Для сравнения припоминали случай с юношей, укравшим тридцать семь рублей, – ему киренские судьи дали пять лет.

Нужно было бы на том заседании суда послушать женщин, которые стали вдовами из-за преступных действий этого лжехирурга! Их слезы, вероятно, явились бы тем важным в судебном разбирательстве, даже решающим «вещественным доказательством», которое усилило бы меру наказания... А то ведь опять «щучку бросили в реку»: новый заведующий Ленводздравотделом рассказывал мне, что вскоре после выхода Кемферта на волю в Киренск поступил запрос: «Подтвердите, что у вас хирургом работал Кемферт». Тот, значит, снова взялся за старое. И позже я сталкивался с фактами, когда неучи выдавали себя за врачей, даже за хирургов, а скальпель – тот же нож, и человек, не умеющий им владеть, но бессердечно пробуящий его на теле другого,

доверившегося ему человека, – потенциальный убийца. Так, по-моему, должен рассматривать самозванцев на медицинском поприще Закон.

Надеюсь, теперь понятно, какое наследие получил я, приняв под свое начало больницу водников. При первом же знакомстве с ней только-только после обхода присел отдохнуть в кабинете, который предстояло обживать, как на мой белый халат из щелей двинулись полчища клопов. Видя, что тут пахнет гигантским сражением, я временно оставил поле боя и уже на улице, примостившись на пенёчке, прикидывал: с чего начать... Знал: впрягся – отныне ни сна, ни отдыха не будет, пока больница не станет именно больницей! Необходимо добывать медицинские инструменты, операционный стол. Но что тревожило больше всего, – это отсутствие операционной сестры. Как без нее приступить к работе?

На другой день я и весь персонал больницы сменили белые халаты на рабочую одежду, вооружились вениками, ведрами, всем другим, чем можно было скоблить, чистить, уничтожать накопившуюся грязь. Провели полную дезинфекцию помещений, и тут же по моей просьбе из судоремонтных мастерских была прислана бригада маляров, штукатуров, слесарей-сантехников... Сделали реконструкцию операционного блока. Над потолком установили огромный бак, подсоединив его к «титану»: будет теперь у нас холодная и горячая вода! Из соседнего затона был подключен аварийный свет на случай выхода из строя основного. Наверное, и сейчас все такое в районных условиях дается нелегко, а тогда на дворе стоял, напомним, 1933 год, и любое незначительное техническое мероприятие вырастало в большую проблему.

Случайно узнал, что приехала в город и гостит у родных бывшая операционная сестра. Помчался в этот дом, отыскал ее, умолял прийти к нам хоть на три месяца, чтобы обучить профессии кого-либо из наших девушек, имевших за плечами лишь рокковские курсы. Дама оказалась строгой: при разговоре даже не предложила сесть, называла меня не по фамилии или по имени-отчеству, а молодым человеком, словно бы даже сомневалась, тому ли доверили работать главным врачом, да еще хирургом. Но что была она первоклассной операционной сестрой, в этом я убедился на первой же операции. От ее строгих внушений плакала Дуся Антипина, которой наша нежданная спасительница помогала осваивать необходимые навыки. Жаль только, что учение у Дуси продолжалось недолго – ее наставница вскоре уехала, и мне самому пришлось завершать обучение нашей доморощенной операционной сестры: учить наматывать и готовить шелк и кетгут, учить названию хирургических

инструментов и приборов, правильному поведению во время операции.

Позже мы дослали Дусю Антипину в Ленинград, чтобы она поработала там в клинике под началом опытной операционной сестры, и вскоре я имел превосходную помощницу, с которой не знал забот все четыре моих киренских года. И правду говорят, что мир тесен. Уже после войны, сам укоренившийся житель Ленинграда, я вдруг нечаянно встретил Дусю на Невском проспекте. Оказывается, она давно живет здесь, по-прежнему операционная сестра в одной из городских клиник, и все у нее в жизни хорошо: любимая работа, любимый муж, умница дочь. Какими далекими, но славными всплыли в нашем разговоре киренские дни – вспоминались они с тем тихим сентиментальным чувством, которое не так уж часто приходит к нам и очистительно для сердца.

А тогда, в Киренске, было не до сантиментов. Даешь, помнится, инструкции старшей сестре, она кивает, а ты видишь: ведь половину не поняла, опять не будет сделано как нужно! И я следовал совету профессора Оппеля, который учил, что при обходе больницы надо мыслить вслух. Заметил, что требуется устранить, переделать – тут же говорю об этом, не упуская ни единой мелочи, не откладывая ничего на завтра... Ежедневно проводил я такие обходы, обращая при этом внимание на санитарное состояние помещений. На виду у сделавших приборку в операционной я, прикасаясь носовым платком к предметам, находил, казалось бы, невидимую пыль: разочарованные сестра и санитарка начинали наводить чистоту заново. На первых порах, пока каждый не научился без подсказок четко выполнять свое дело, такое было необходимо.

Своими силами посадили у больницы свыше трехсот саженцев, которые прижились и уже на будущий год дружно зазеленели. Мне недавно написали, что и поныне шумит возмужавшей листвой больничный парк, и я очень рад, что всюду, где бы ни жил, остаются посаженные мною деревья.

Чтобы обеспечить больных мясом и молоком, мы создали свое подсобное хозяйство. Никто из персонала не освобождался от работы па этом внештатном участке, и, конечно, хирург Углов в вечерние часы и в выходные дни, надев перчатки, чтобы не повредить руки, участвовал в заготовке сена. Потребовались лошади – завели их тоже. Одну – небольшую сибирскую лошадку – купили специально для разъездов: летом верхом, а зимой на санках. Выйдешь другой раз из операционной глубоким вечером, усталый, подавленный, скажешь кучеру: «Прохор, запрягите Малышку!» – и летишь по снежной дороге, под морозными звездами, в синюю даль.

Эх вы, сани! А кони, кони!

Видно, черт их на землю принес!

В залихватском степном разгоне

Колокольчик хохочет до слез...

Конечно, меня помнили, и я за несколько лет разлуки почти никого не забыл. И в новом свете теперь виделась мне судьба земляков. Я уже для них был доктор, от меня ждали помощи, облегчения, сочувствия. «Ты же знаешь, Федор Григорьевич, как мы раньше жили, когда ты сам босиком бегал, шустрый такой был, в отца. Иль не поймешь нас?» И мне хотелось каждого понять, каждому быть полезным.

В один из первых дней пришли ко мне Степа Оконешников со своей матерью Иннокентьевной, и я с трудом узнал его: так он исхудал, такая печаль и мука были на когда-то веселом, пышущем здоровьем лице. В юности, несмотря на разницу в годах – он был старше меня, мы дружили, много песен вместе перепели. И я с завистью смотрел, как вились вокруг красивого, стройного Степы девушки, набиваясь на дружбу с ним. В шестнадцать-семнадцать лет почему-то было обидно, что самого природа высоким ростом не наделила.

А сейчас передо мной стоял больной человек, мало похожий на того, прежнего Степу. Вытирала концом платка слезы Иннокентьевна. И она – в тревоге за любимого сына – тоже сдала: не было прежней стати, дородности, румянца.

– Эх, Степа, – сказал я, чтобы как-то разрядить тягостную обстановку, – во сне, представляешь, снилось, как косили мы с тобой траву на монастырских лугах. Вот приехал – возьмешь снова в напарники?

Степа болезненно скривил губы и махнул рукой, ничего не ответив. За себя и за сына стала говорить Иннокентьевна. Печальный рассказ услышал я.

Как-то на Масленице Степа из Хабарова, где стоит их дом, поехал к приятелям в Киренск на паре резвых лошадей, чтобы повеселиться, покатать парней и девчат на расписных санках. В Хабарово он возвращался поздно ночью. Чтобы было легче управлять, выпряг молодую пристяжную и привязал к санкам сзади. Впереди бежал верный пес Полкан.

Вдруг коренная лошадь дико всхрапнула, с крупной рыси перешла на галоп, и Степа, обернувшись, увидел в ночной темноте злые, фосфоресцирующие огоньки. «Волки» – обожгла догадка. Ох, какая досада взяла: почему не прихватил с собой, не сунул под сено берданку! Теперь вся надежда на лошадей...

Несколько раз настигали волки, но бегущая сзади лошадь копытами отбрасывала их назад, а глубокий снег мешал стае забежать сбоку санок, навалиться на лошадей со стороны или спереди. А кони мчали подобно ветру. Бедный Полкан на какой-то миг поотстал – и тут же был разорван в клочья голодной волчьей стаей. Всего на две-три минуты задержала гибель Полкана серых хищников, но Степа уже успел подлететь к крайним хабаровским избам – и ожесточенный лай деревенских собак, и яркие в ночи огни заставили стаю круто повернуть прочь... Утром, прихватив ружье, Степа с товарищами сходил к месту гибели собаки: лишь следы крови да редкие шерстинки остались на этом месте. С ужасом подумал он, что, не задержи волков Полкан, не миновать бы, возможно, ему самому дикой смерти в поле. И хоть смелый он был человек, но, как признавался после, с этого случая что-то стронулось в нем.

Несколько дней Степа плохо спал, а через два месяца стал замечать тупые боли под ложечкой. Сначала не придавал им значения, но боли становились невыносимыми, особенно после еды. Чтобы пригасить их, вставал на колени, долго пребывал в таком положении, клал на живот чулок, набитый горячей золой и солью, начал пить соду. На какой-то момент отпускало, а потом – все сызнава. Не помогали полученные в больнице лекарства. Правда, врачи советовали ему бросить курить, но Степа считал, что курение тут ни при чем.

Неожиданно в Киренск приехал доктор Михаил Герасимович Ананьев, ученик профессора Мыша. Измученный страданиями, Степа Оконешников тут же пришел на прием.

– Ты язву желудка, голубчик, нажил, – сказал ему доктор. – Надо резать!

– Лишь бы потом не болело, – и со всей присущей ему решительностью Степа согласился на операцию.

Нужно заметить, что Ананьев, как и его учитель, в то время был принципиальным сторонником анастомоза [анастомоз – соустье] между

желудком и кишкой как метода лечения язвы желудка. Тогда многие хирурги придерживались подобной точки зрения, хотя в медицинской литературе уже появлялись тревожные сигналы, что после таких операций, если у оперированного высокая кислотность желудочного сока, часто возникают так называемые пептические язвы анастомоза, то есть такая же язва, что была на желудке, появляется на месте, где к желудку пришивается тонкая кишка. Больной снова подвергается ужасным болям, даже в большей степени, чем испытывал до этого, так как язва анастомоза часто прорывает не только тонкую, но и толстую кишку. Новые свищи – новые страдания.

После выступления в печати Сергея Сергеевича Юдина, прислушавшись к его авторитетному голосу, большинство хирургов отказывались от подобной операции, перешли на резекцию желудка – более трудную, более опасную, однако исключавшую подобные осложнения. При резекции желудка кислотность снижается и условия для зарождения пептической язвы исчезают. Но все же многие хирурги, в том числе и из клиники профессора Мыша, упорно стояли на своем. И в Киренске Ананьев при операции у Степана Оконешникова наложил анастомоз между желудком и тонкой кишкой.

Степа, по словам его матери, снова ожил. Чуть ли не год чувствовал себя совершенно здоровым, наслаждаясь жизнью и радуясь, что теперь-то он возьмет свое: не соблюдая диеты, жадно ел все, что было недоступно во время болезни. И – снова боли, иного, правда, характера, чем были раньше. Опять пришлось вспомнить про строгую диету, но боли, затихнув ненадолго, возобновлялись пуще прежнего. Ананьева уже в Киренске не было, а «доктор» Кемферт, с важным видом обещавший вылечить Степу, все оттягивал время, пока не стало известно, что он уже сидит за решеткой...

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/fedor-uglov/serdce-hirurg>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)